



Елена Долгопят

# Чужая жизнь

*«Каждый рассказ болезненно бережит душу  
чувством непрочности, а то и призрачности  
человеческого существования в отнюдь не иллюзорном,  
но самом что ни на есть реальном, очень узнаваемом мире».*

Леонид Юзефович

Финалист премии  
«Национальный  
бестселлер»

**ШЕ**  
РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Женский почерк

Елена Долгопят

**Чужая жизнь**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Долгопят Е. О.**

Чужая жизнь / Е. О. Долгопят — «Издательство АСТ»,  
2019 — (Женский почерк)

Елена Долгопят – прозаик, сценарист. Автор книг «Тонкие стекла», «Гардеробщик», «Родина», «Русское». В 2017 году сборник рассказов «Родина» вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». Человек смотрит на себя в зеркало и видит в нем постороннего. В чем причина? Инерция жизни, когда человек перестает чувствовать себя живым, перестает видеть и слышать, а каждый новый день повторяет предыдущий? Страх жизни и смерти? Страх быть? Или зависть к чужой жизни и к чужой судьбе? Рассказы Елены Долгопят в новом сборнике «Чужая жизнь» развлекают и пробуждают читателя от инерции. Хотя бы на мгновение мир предстает странным.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Долгопят Е. О., 2019  
© Издательство АСТ, 2019

## Содержание

Цветная изнанка жизни	6
Лёша	7
Чужая жизнь	11
Поездка	20
Объект	28
Katerinaa	40
Конец ознакомительного фрагмента.	46

**Елена Долгопят**  
**Чужая жизнь. [рассказы]**

© Долгопят Е.О., 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

\* \* \*

## Цветная изнанка жизни

Это умная проза. Ее простота обманчива, ее кажущаяся безыскусность – итог опыта и мастерства, а авторская сдержанность отзывается в нас неожиданно сильным чувством.

Каждый рассказ Елены Долгопят неповторим и может принадлежать только ей. Каждый болезненно бередит душу чувством непрочности, а то и призрачности человеческого существования в отнюдь не иллюзорном, но самом что ни на есть реальном, очень узнаваемом мире. Даже те, где присутствует элемент фантазмагии, воспринимаются не как фантастика, а как возведенная в степень обыденность. Приемы, за счет которых достигается этот эффект, мне неизвестны. Подозреваю, что загадка воздействия этих текстов на читателя в чем-то таком, чему не научат ни на каких литературных курсах.

Как человек, много лет проработавший учителем в школе, я знаю, что если на уроке ты о чем-то рассказываешь, а дети начинают шуметь, бесполезно форсировать голос. Ты один, а их много, всё равно ты их не перекричишь. Лучший способ заставить прислушаться к себе – начать говорить тише. По-моему, что-то подобное происходит сейчас в литературе: отчаявшись быть услышанными, мы стараемся крикнуть громче, чтобы перекричать шум мира, но у большинства это плохо получается.

Елена Долгопят никогда не пыталась повысить голос. Ее рассказы давно публикуются в журналах и выходят отдельными книгами, но лишь в последние годы мы, кажется, начинаем понимать, что своим тихим голосом она говорит о «цветной изнанке жизни», вещах, важных для всех нас.

*Леонид Юзефович*

## Лёша

Это произошло непроизвольно, без усилия.

Очередь не двигалась, мать не отпускала Лёшу от себя, держала за воротник, как маленького. Люди подходили, спрашивали, что дают.

Сосиски.

Сказали не занимать.

Килограмм в руки.

Стояли терпеливо, плотно друг к другу. Кто-то пытался пробиться без очереди, на него кричали матом.

Очередь то стояла намертво, то продвигалась на шаг, и сколько еще таких шагов до продавщицы в белом колпаке, тысячу? Сто тысяч? Лёша бы сходил, измерил, но мать не отпускала, держала крепко.

– Мне жарко, – пожаловался Лёша.

Мать отпустила воротник, наклонилась. И в этот момент, в то самое мгновение, когда лицо матери приблизилось к Лёшину, время остановилось. Мать и все люди, все существа и все предметы застыли, как в сказке про заколдованный замок. Лёша множество раз читал ее в тонкой детской книжке. В книжке имелась картинка с замершими в танце обитателями замка. Впрочем, на любой картинке мир со всеми его обитателями замирает.

Лёша пошевелился и понял, что время остановилось не для него. Все застыли, Лёша оставался свободен. Он не особенно удивился. Он воспринял случившееся спокойно. Отступил от очереди. Прошел вдоль нее. Отметил, что не слышно звуков, и даже его собственные шаги не слышны. Не чавкает черная жижа на полу. Идешь, как будто в пустоте.

Лёша ступал осторожно, боялся спугнуть уснувшее время. Боялся пробудить. Наверное, так нужно красться мимо задремавшего льва.

В воздухе застыла новенькая блестящая монетка. Пятачок. Лёша разглядел год, 1972-й. Только что начавшийся. Дверь была приоткрыта, видимо, не успела захлопнуться за багровым от холода дядькой. Для Лёши проход оказался достаточным.

Мальчик вышел на зимнюю улицу. В воздухе сверкала ледяная пыль. Ребенок катился по ледяной дорожке, растопырив руки. Лёша заглянул ему в лицо, в светлые прозрачные глаза и отправился дальше. Лёша знал, что улица должна привести его к реке, ему хотелось посмотреть на лед, и, может быть, даже пройти по нему на тот берег. Ребята говорили, что посреди реки гудит страшный ветер и может снести пешехода, уволочь аж до самого фанерного завода. Там всегда пахло распиленным деревом. Впрочем, в остановленном мире Лёша не чувствовал запахов.

Идти оказалось легко, невесомо. Лёша наблюдал облачка пара и дым сигарет, как будто запечатленные на фотографических снимках. Вдоль спускавшейся к реке улицы стояли небольшие одноэтажные дома. Над печными трубами замер дым. Из колонки била в ведро ледяная алмазная струя. Тетка поддерживала на крючке ведро. Она стояла прочно. В валенках с черными гладкими калошами, в сером ватнике, из-под которого выглядывала длинная темная юбка. Лёша обошел тетку, рассмотрел со всех сторон, как статую в музее. Подивился на обширный зад, на крепкие, как бетонные сваи, ноги, на черную волосатую родинку над верхней губой.

Лицо у тетки сморщено; похоже, она собиралась чихнуть, да не успела.

Лёша подумал: надо же, я гуляю и нисколько не мерзну, и есть не хочется. А в очереди очень уже хотелось есть, тем более что пахло в магазине не только холодом и людьми, но и свежим хлебом, и сосисками пахло, которые привезли к ним продавать из Москвы.

Ничего уже не хотелось, только смотреть.

Лёша оставил тетку и отправился дальше, то задерживаясь перед вспорхнувшим воробьем, то перед каким-нибудь прохожим. Лёша переходил на проезжую часть, шагал, не опасаясь машин; не было слышно их ворчания и звериного бензинового запаха, который Лёша обожал.

У реки, за сараями, открылся проулок, и Лёша увидел в нем маленькую, скрюченную фигурку. Мальчик лежал на снегу, поджав ноги, прикрыв руками голову, на которую летела уже нога в тяжелом, точно камень, ботинке. Летела, да не долетела, остановилась в воздухе. Лицо у нападавшего перекосилось, серая армейская шапка с вмятиной от кокарды свалилась и зависла у самой земли.

Лёша знал обоих ребят. Лежащего звали Валькой, он учился вместе с Лёшей в четвертом классе а; его палач, по прозвищу Бык, учился в восьмом гэ. Не учился, а тянул срок, как мать в таких случаях говорила. Валька обращал на себя внимание лишь тихим прозрачным голосом. Учительница всегда подходила к нему поближе, чтобы расслышать. Рядом с ними застыл наблюдателем еще один знакомец и Лёшин одноклассник – Петя. И не просто знакомец и одноклассник, а лучший Лёшин друг. Он стоял, засунув руки в карманы короткого пальто, и наблюдал избиение с улыбкой.

С ужасом смотрел Лёша на лицо друга. И это Петя! Веселый, умный, ловкий, обожаемый Петя! Тот, кому Лёша рассказал свой сон о смерти (а больше не рассказал никому), тот, кто научил его плавать этим летом. Петя, который умел заговорить кровь. Лучший человек на земле хладнокровно и с видимым удовольствием наблюдал избиение.

Лёша опустился на колени и заглянул в лицо бедного Вальки.

Глаза зажмурены, нос разбит в кровь.

Лёша подумал: схвачусь за каменный ботинок и дерну на себя, Бык грохнется об лед затылком, а мы с Валькой рванем. До фанерного, по льду.

Лёша схватился за ботинок и в ту же самую секунду очутился в очереди и оглох от обрушившихся звуков. Голоса, шаги, кашель, хлопанье двери. Мать сказала:

– Потерпи, сынок, мы уже рядом.

Она выпрямилась, отвлеклась, и Лёша сиганул к двери.

В переулке за сараями никого уже не было. Лёша разглядел пятна крови на утоптанном снегу. Огляделся, подождал невесть чего. И побрел к магазину. Дыхание постепенно восстанавливалось.

Дома мать сказала, что сосисок он не получит.

– Я за своей долей отстояла, дотерпела, а ты, видать, не пожелал.

И больше она с ним в этот вечер не разговаривала. И не смотрела в его сторону, как будто Лёша – пустое место. Сварила сосиску и съела. Лёша пожевал картошку с квашеной капустой и сел за уроки. Назавтра Любаша, так они звали классную, обещала контрольную. Лёша чувствовал себя старым, много пережившим.

На другой день Валька в школе не появился, а Петя пришел с заплывшим глазом и рассказал Лёше, как шел вчера по переулку у реки, думал о своем и вдруг увидел, как Бык молотит Вальку.

– Я, конечно, бросился отбивать и получил, хорошо, что дядька проходил военный. Он Быка рубанул по шее, и всё, Бык сдох. Дядька обещал научить боевым приемам. Пойдешь?

Лёша понял примерно следующее: по мгновению, по тонкому срезу, нельзя судить о событии. Нельзя судить с абсолютной точностью. С уверенностью. Ты не знаешь, отчего на лице человека застыла улыбка. Он смотрит на тебя, но, быть может, тебя не видит и улыбается собственной, неведомой тебе мысли.

После боя Петя проводил Вальку до дома, и по дороге Валька рассказал, что гулял себе спокойно за хлебом и вдруг увидел – у сарая стоит Бык и плачет. Валька прибавил шаг и вдруг услышал, что Бык его нагоняет. Нагнал, двинул в спину, Валька упал.



Звонок прозвенел, вошла Любаша.

Ребята стояли тихо. Любаша посмотрела на них с такой грустью, с какой мать иногда смотрела на Лёшу, как будто заранее, на всю оставшуюся жизнь, его жалея.

Любаша опустила на стул возле своего учительского стола, закрыла маленькими ладошками круглое молодое лицо и застыла.

И класс застыл. Никто не шевелился. Рукав коф-ты у Любаши был испачкан мелом, очень хотелось, чтобы эта белая полоса исчезла, не беспокоила взгляд. Всё это походило на вчерашнее, вдруг остановленное время. Правда, на этот раз и Лёша был в нем остановлен.

Никто не мог пошевелиться, никто, пока Любаша не отняла рук от покрасневшего лица и не вздохнула. И тогда все вздохнули.

Девчонки закудахтали:

– Любовь Николавна, Любовь Николавна, что такое, что?

Любаша махнула рукой, остановила квохтанье. Платочек вынула из кармашка в кофте, белый, тоненький, промокнула глаза, промокнула нос.

– Вы всё равно узнаете. Бориса Евдокимова нашли убитым сегодня утром. Да вы садитесь уже.

Борис Евдокимов и был Бык. Был.

Через день Петя перехватил Лёшу до начала уроков возле школы. Он сказал, что сегодня восьмой гз едет хоронить Быка. У крыльца уже стоял «пазик».

– Пока они собираются, мы пешком пройдем.

Лёша не спросил, зачем. Он (вероятно, как и Петя) чувствовал, что должен идти. То ли попрощаться, то ли разрешить какой-то вопрос.

Бык жил (был) на окраине, в прилепившейся к городу деревне. Ребята прошли через заглохший парк у завода Дзержинского, прошли по обочине узкой, обледелой дороги, перебрались через пути, через маленькую замерзшую речушку, оттуда уже видна была деревня. Шли они всю дорогу молча.

Белое поле лежало под фиолетовым небом. Любаша приводила их сюда в декабре. Лопатой разрезали снег и смотрели слои. Светлые, темные, впитавшие копоть и жесткий ледяной наст, это значит, подморозило после оттепели. Увидели желтый след мочи, похихикали. Любаша сказала, что к весне вся эта снежная книга, которую она их учит читать, растает без следа.

Белое чистое поле под сумрачным небом слепило глаза. Мальчики приближались к деревне по пробитой тропинке, и всё казалось таким давним: и снег, и тропинка, и деревянные дома, и печной дым, и сами они, маленькие люди.

– У нас из Александровки братья Крысенковы учатся.

– Да, точно.

У дома Быка топтались люди. Красная крышка гроба стояла у забора возле настезь распахнутой калитки. Мальчики прошли. Тропинка была широко и гладко расчищена. Снег светился. Мужчины курили на крыльце.

В комнате оказалось холодно, нетоплено.

Скудный свет из небольшого окна. Зеркало завешено черным платком. На голом столе посреди комнаты – открытый, обитый красным гроб. На стуле возле него – женщина, вся в черном. Губы сжаты, глаза сухие.

Мальчики робко приблизились с другой стороны стола к гробу. Лежавший в нем не походил на себя живого. Одели его в черный парадный костюм и белую отглаженную рубашку. Блестели и пахли гуталином черные тяжелые ботинки. Часы на буфете стояли. От холода стыло лицо. Петя коснулся Лёшиной руки, и мальчики тихо отступили от гроба.

Они вышли на волю, постояли с мужчинами на крыльце, вдохнули горький дым.

Подъехал «пазик», открылась дверь. Восьмиклассники выбрались молча.

– Айда домой, – решил Петя.

– Я останусь еще, – сказал Лёша.

Петя взглянул на него удивленно, но ничего не спросил. Пожал руку на прощание.

Лёша сошел с крыльца, топтался рядом. Бог его знает, для чего он оставался, что еще хотел увидеть. Может быть, понять.

Лёша дождался, когда гроб вынесли из дома, и отправился вслед за черной тихой толпой.

На кладбище мужчины долбили землю и пели неслыханные Лёшей стихи:

– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

Не было на кладбище священников, несколько старушек крестились и плакали (мать Быка не плакала и не крестилась), а мужчины долбили землю, и пели, и пели:

– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

И это казалось Лёше страшным и нужным.

Остался он и на поминки в уже натопленном доме, послушал разговоры, поел и даже глотнул водки.

Убили Быка ножом в грудь на путях, за депо. За ночь занесло его снегом.

Мать Быка всё молчала, а потом вдруг сказала, негромко, но все услышали:

– Ушел он вовремя, без греха, его убили, не он, это милость Божия.

– Откуда ты знаешь? – кто-то из женщин спросил молодым голосом. – Есть у него на душе такой грех или нет?

Мать Быка помолчала, подумала.

– Не знаю. Но и обратного не знаю.

И выпила целую, до краев, стопку.

Вернулся Лёша домой уже к ночи. Мать его не попрекала. Предложила поесть, но Лёша сказал, что сыт. Зубы почистил, умылся, поглядел в зеркало на свое мокрое лицо и подумал, что совсем не хочет умирать, никогда.

## Чужая жизнь

Когда у него отрастали волосы, они начинали виться и отливать рыжестью. Женé нрави́лось, но он такой длины старался не допускать, аккуратно стригся каждые две недели. Дело в том, что с отросшими волосами он становился похож на известного по сериалам актера. И тогда люди смотрели на него умиленно, изумленно, восторженно. Но все эти взгляды не имели отношения к нему.

Был он человек вежливый, но холодный, другими людьми особенно не интересовался. Выглядел то старше, то младше своих тридцати пяти – зависело от состояния. На работу носил белые отутюженные рубашки под темные пиджаки. Был неразговорчив. Особенно не любил рассуждать о политике и религии, об устройстве мироздания и о смысле жизни, о чужих странах, даже если в них бывал, и о фильмах, даже если их видел. Мог поговорить об автомобилях. Точнее, не поговорить, а так, поддержать разговор, чтобы не угас.

Летом его жене предложили выгодный долгосрочный контракт за границей. Она пришла в тот вечер с таинственно-счастливым лицом, глядела потемневшими, встревоженными глазами, как будто только что, впервые в жизни, влюбилась. И Михаил ничего другого не мог ей сказать, кроме как: да, здорово.

Она рассматривала снимки той страны, куда собиралась, как в сказку. Слушала ее песни, они вместе слушали, с Михаилом, и она понимала их смысл, а он нет, и ему было не по себе.

– Работу найдешь легко, – убеждала жена, чувствуя его беспокойство, – поверь мне, такие специалисты, как ты, везде нужны. Язык поймешь, освоишь, ты умный и музыкальный, музыкальный слух важен для языка, у каждого языка своя музыка, я эту обожаю, я, наверно, в прошлой жизни там жила и была счастлива, я хочу вновь дышать тем воздухом, я даже мечтать не могла, что так будет.

Ну что тут скажешь? И Михаил молчал, пока не пришло время и ему оформлять документы. И тогда он признался, что для него этот отъезд как смерть, что он человек привычки, и пошутил про «берег турецкий». Осенью она уехала.

Квартиру сдали, а Михаил вернулся к матери, в свою бывшую комнату. Мать по-прежнему ночевала в гостиной на диване, у сестры тоже имелась своя комната, так что квартирный вопрос их не мучил. С женой переписывались по электронной почте. Михаил отмечал с удивлением, что не скучает по ней. И не сразу узнаёт на фотографиях, которые она присылает.

Он ее забывал. Как будто течением его уносило от нее.

То ли по закону сюжетосложения, то ли по закону судьбы Михаил не мог избежать рокового сходства, как ни старался.

В феврале он тяжело заболел гриппом и слег почти на месяц, а когда поднялся, увидел в зеркале отросшие кудри, точнее, увидел того актера вместо себя, он нагло занял его место. Михаил покашливал и в ногах чувствовал слабость, но все-таки побрился, оделся потеплее и пошел из дому на улицу. Остановить его никто не мог, сестра с матерью были на работе.

Обычно Михаил ездил в одну и ту же парикмахерскую, к одному и тому же мастеру, к которому следовало записываться. Он привык к его рукам, к его манере, он и правда был человек привычки. Но в этот раз Михаил ехал без звонка – всё равно к кому попадет, лишь бы состричь поскорее ненавистные кудри. Из-за них даже цвет глаз менялся. Уже в автобусе он сообразил, что есть парикмахерская возле дома, в двух шагах.

Он сидел у окна, напротив девушки. Смотрел в окно и видел в стекле ее кривое отражение поверх уплывающих огней. Шапку он натянул на глаза, как бы спрятал, затолкал актера за шапку. Он был в черной куртке, в старых джинсах, и в этой пацанской одежде, бледный и слабый от болезни, казался моложе своих лет. Казался мягче.

Он привалился головой к стеклу и перевел взгляд на девушку. Рассмотрел тонкую шею, смуг-лую щеку, тень от ресниц. Вдруг подумал, что это лицо скоро исчезнет. Он, как бы это сказать, почувствовал мимолетность этого лица. Этого существа. Этого существования. Карие глаза потускнеют, морщинки лягут в углах губ, лицо состарится, начнет разрушаться. В общем, ничего особенного, ничто не вечно, но почему-то именно это лицо стало ему жалче других. Захотелось протянуть ладонь и защитить, укрыть, удержать. Если бы только нашлась такая комната, только одна комната, одна-единственная, со стеклянной стеной, и время в этой комнате было бы остановлено каким-то чудом, Михаил заключил бы девушку в эту комнату, а сам стоял бы за стеклянной стеной и смотрел. И был бы спокоен, и не было бы этой внезапной жалости, чуть ли не слез.

Это болезнь говорила в нем, слабость.

Рука девушки лежала на черной сумке. Он разглядел порез на пальце. Он захотел представить, как она что-то режет, готовит. И вдруг встретил ее карий взгляд.

– Что? – спросила она резко.

Голос как будто не ее. У нее должен быть другой, не такой ледяной.

Он отстранился от окна и, не сводя с нее глаз, стянул шапку. Ему захотелось, чтобы девушка узнала в нем актера. Чтобы она удивилась, чтобы растерялась. Хотел увидеть в карих глазах смущение и робость.

Волосы высвободились, упали на лоб. И она узнала. Но ни смущения, ни робости в глазах не появилось. Удивление.

Она отвернулась к окну. Как раз проезжали парикмахерскую. За широкой витриной уборщица замечала щеткой разноцветные волосы.

Не выдержала любопытства и вновь на него посмотрела.

Он улыбнулся.

Она смотрела серьезно.

– Что? – спросил он, взглянув на ее палец. – Порезались?

Приподняла палец и опустила.

– Давно уже.

И улыбнулась. Все-таки улыбнулась.

Михаилу было всё равно, что она улыбается не ему.

– Я гриппом болел, – сказал он, – и у меня сел голос.

– Заметно.

Они глядели друг на друга, молчали, улыбались. Автобус тряхнуло на трамвайных путях.

– Я выхожу, – сказала она.

Он прыгнул первым и подал руку. Он представлял, как она будет говорить, что встретилась с известным актером и что он – ничего себе.

Она как будто бы не замечала, что он шагает следом. Вдруг остановилась, взглянула на него.

– Я думала, вы повыше.

– Эффект экрана.

– Мой дом. – Она указала на панельную девятиэтажку, возле которой они стояли.

– Отличный дом.

– Не особенно.

– Ваш – значит, отличный.

Она усмехнулась.

– Так странно, вы знаете мое имя, а я вашего – не знаю. Вы, наверно, даже в курсе, где я родился. А вы где?

Она рассмеялась и протянула ему руку.

– Счастливо.

Он взял ее ладонь в свою. Хотел задержать, но ее рука выскользнула, ускользнула. Девушка направилась к подъезду. Он смотрел вслед.

Она набирала код. Он надеялся, что она оглянется, улыбнется. Но девушка не оглянулась.

Дверь за ней закрылась. Михаил спохватился, что холодно, полез в карман за шапкой, но шапки не нашел, видимо, обронил в автобусе.

У ларька на другой стороне улицы стоял парень и смотрел на Михаила упорными, недобрыми глазами. Михаил перешел на его сторону, не обращая на парня внимания, мгновенно позабыв его взгляд.

Направился к остановке, позабыв уже и о девушке. Он хотел побыстрее вернуться домой, к себе вернуться. Вдруг почувствовал рядом чье-то дыхание.

Парень пристроился рядом. Шел с ним и молчал. Не отставал. Михаил прибавил ход, и парень прибавил. Когда Михаил остановился, не дойдя нескольких шагов до стеклянного короба со ждущими автобус людьми, парень остановился тоже.

Повернулся к Михаилу и спросил:

– И о чем ты с ней говорил?

Глаза – белые от ненависти.

Михаил молчал. С такими людьми лучше не связываться, лучше не отвечать и в глаза им не смотреть. Ни в коем случае.

Приближался автобус.

– Стоп-стоп. – Парень заступил Михаилу дорогу.

– Мой автобус.

Парень ухватил его за плечо.

– Руку!

– Я тебя спросил.

– Иди на хрен.

– О чем говорил, урод? С моей девушкой. О чем?

– Ни о чем.

– Сволочь.

Михаил попытался отодрать от себя цепкую руку.

Автобус уже забрал пассажиров, уходил.

Несколько прохожих остановились и смотрели на них, топчущихся друг против друга со злобным шипением.

Неожиданно чужая рука отпустила Михаила, и тут же он получил удар в лицо. Из носа потекла кровь. Михаил бросился на парня. Парень был здоровее, он ухватил Михаила за ворот куртки, стянул так, что Михаил задохнулся и захрипел.

– Ты решил, тебе можно? Если ты в телевизоре, всё можно, да?

Михаил хрипел в стянутой на горле куртке, извивался, пытался вырваться, выбиться. Парень рванул его лицо к своему. Он дышал перегаром.

Михаил пнул, врезал парню в колено, парень взвыл, хватка ослабла. Михаил пнул снова со всей злобой, что-то хрустнуло, парень осел. Михаил налетел на него, опрокинул, упал на него, схватил за волосы и стал бить парня головой об асфальт, затылком об асфальт. И вдруг увидел, что глаза у парня тускнеют. Неживой, неживой. Так Михаил думал. Не когда бежал, когда бежал, ничего не думал.

Бежал дворами. Стоял, согнувшись, в темной подворотне, задохнувшись от бега. Тихо, медленно брел, трогая распухший нос.

Ключ нашел. Выронил. Ползал по кафелю, искал. Вталкивал в замочную скважину, ключ дрожал мелкой дрожью. Живой в неживой руке. Сухой жар во рту, боль в висках.

Всё с себя стянул, сбросил: кроссовки, джинсы, куртку, свитер, трусы. Перевернул ящик в тумбочке, ножницы звякнули об пол. Сунулся в зеркало, схватил себя за вихор, обкорнал.

Выглянул большой лоб. Лицо стало странным. Ни на кого не похожим. Ни на Михаила, ни на актера, ни на кого. Чужой человек. И нос разбит. Михаил потрогал нос и чуть не заплакал, так больно.

Он забрался под одеяло. Спрятался, укрылся в сон, в забытие.

Проснулся, то ли утро было, то ли темный, серый день. Стучала, строчила машинка. Как будто бы он проснулся в прекрасном прошлом, двадцать лет назад, когда у них имелась еще машинка, когда мать шила. Уснул под швейный стук.

Уже за ужином, когда сидели втроем, и он был выбрит и с подровненными Дашкой волосами, Дашка его рассмотрела и сказала, что он похож на инопланетянина, и если бы не разбитый нос, то было бы даже красиво. Он придумал, что хотел подстричься, вышел и упал на улице, поскользнулся, ударился, разбил нос, вернулся домой, голова кружилась. Сказал, что просыпался один раз и слышал, как стучит швейная машинка.

– Это ты не просыпался, – сказала мать, – это тебе снилось.

– Мне сны не снятся.

– Малину положи в чай, вместо сахара.

После ужина он ушел в свою комнату, затворил дверь и наконец-то решился включить комп. Открыл почту. Удалил спам. Прочитал внимательно письма. Ответил жене.

За окном шел тихий снег. Михаил поглядел на снег и набрал в поисковике имя актера.

Его арестовали по обвинению в убийстве.

Актер ничего не отрицал. Но и рассказать о драке не мог. Не помнил. Свидетели драки вызвали скорую и полицию. Не погнались за ним из страха. Когда его задержали, он был сильно пьян и с разбитым носом. Консьержка сказала, что пьяным он возвращался часто, пьяным и битым, так что ничего удивительного. Актер уверял, что парня совершенно не знает и не помнит, что обычно почти ничего не помнит, протрезвев. Говорил, что все его пьяные дни – черные дни, провалы. Он говорил, что собирался лечиться. Должен был закончить съемки и лечь в клинику.

Девушка, невольная виновница трагедии, утверждала, что актер был абсолютно трезв. Ее показания никак не вписывались в общую картину. Люди в интернете считали, что она зачем-то врет. Хочет то ли погубить актера, то ли, наоборот, спасти. Предполагали, что между ними все-таки что-то было.

Михаил перечитал всё, что только смог отыскать, и выключил комп.

В комнате темно. Снег падает за окном, как в рождественском фильме. Завтра выходить на работу.

Он надеялся, что найдутся неоспоримые свидетели, которые видели актера в другом месте. Надеялся, что дело рассыплется. Но оно крепло. Актер ничего не пытался отрицать. Все жалели его талант, говорили о душевной тонкости, которая проглядывала в любой его роли, о мягкости, покорности характера, отчего он и подпадал под влияние дурных людей.

Драка не вызывала сомнений ни у кого, кроме девушки. Но показания девушки все считали сомнительными. Тем более что нашлись пассажиры того же автобуса, которые уверяли, что актер был, конечно же, пьян и что девушка не могла этого не заметить. Уверяли совершенно определенно и твердо.

Удивительным образом дело вписывалось в судьбу актера, в траекторию его жизни. Как будто было предопределено. И Михаил утешал себя, что всё бы так и сложилось, что всё к тому шло и пришло бы. С ним или без него. Не в этот день, так на следующий. И он сам себя уговорил, что ни при чем.

Кто еще актеры, как не призраки, лишь притворяющиеся настоящими людьми? Такая мысль приходила в голову Михаилу, и в ней он находил утешение.

К середине весны никаких уже новых материалов об актере не появлялось в интернете. Поисковик выдавал всё уже читаное-перечитанное. И всё же каждый день после ужина Михаил

вводил имя актера и нажимал «энтер». Иногда по ТВ повторяли сериалы с его участием, но Михаил сериалы не смотрел. Он вообще не смотрел ТВ, даже новости.

Раньше он засыпал мгновенно, и сны ему не снились. По крайней мере, он их не помнил, когда просыпался. Просыпался, смотрел на будильник и соображал, что его не было семь часов, как если бы эти семь часов вырезали из его жизни. Точнее, его вырезали из жизни на семь часов. Сон всегда оказывался его небытием.

После убийства, которое совершил не он, как он сам себя убедил, его ночная жизнь перевернулась. Снов не было. Но и сна не было.

Засыпал он по-прежнему мгновенно. Но через пару часов вдруг просыпался.

Ночь. Проезжала за окном машина, и казалось, что именно ее гул разбудил. Сосед курил на балконе, и дым его сигареты проникал в комнату. Голова оставалась ясной. Жутковатая ясность, как наваждение, от которого не избавиться, не отвертеться.

Он лежал с открытыми в темноту глазами. Он думал о прошлой своей жизни. Но не о том прошлом, с женой. То прошлое казалось ошибкой. Вся жизнь сейчас казалась Михаилу ошибкой. Только один эпизод он и вспоминал как настоящий.

В прихожей темные углы. С черного зонта течет вода. Он не знает, куда его пристроить. Женщина берет у него зонт.

Михаил моет руки и видит его свернутым на крюке. С зонта капает в ванну. Михаил вытирает руки поданным полотенцем, чистым, только что вынутым, видимо, из шкафа. Женщина приглашает его пить чай. Компьютер уже в порядке, он его «вылечил». И она ему шутливо говорит:

– Проходите, доктор, не стесняйтесь.

И он, как это ему ни странно, не стесняется. Пьет обещанный чай с вареньем. Не то чтобы варенье ему нравится, но здесь, на этой кухне, оно кажется отличной добавкой к чаю, к настроению, к состоянию.

Уходить решительно не хочется. За окном, в темноте, лупит дождь. И Михаилу кажется, что он всегда присутствовал здесь, в этом доме, в ее жизни. Всегда. Он понял это, едва переступив порог.

Они сидят на кухне и пьют чай. Ребенок, мальчик, скорее всего, берет стакан с молоком. Конечно же, у них есть ребенок. Ему семь лет.

Звонят в дверь, она идет отворять, он слышит, как она говорит:

– Привет, милый, какой дождь, а нам комп починили, на кухне мастер, чай с малиной, Витенька звонил, скучает по нас, а как ты думаешь?

Так что он чужой в этой кухне, гость. Но это ошибка, что он здесь чужой. Это неправильно.

Михаил лежал без сна и смотрел в темноту, и слышал, как едет вниз машина, и представлял правильный вариант: ту квартиру, ту женщину, ее тепло, их вечность.

Стук швейной машинки из детства тоже казался в темноте чем-то верным, единственно правильным, чем-то, к чему надо вернуться.

Под утро он забывался.

Мечты-видения о несостоявшейся его жизни с той женщиной стали являться ему не только по ночам вместо снов. Он и днем, с открытыми глазами грезил о той несбывшейся жизни, в которой мог быть счастлив, которая ему была предназначена. Правильный вариант его жизни. Но он жил в неправильном. О правильном только грезил.

Как-то раз Михаил очнулся от своей грезы в глухом парке поздним вечером.

Он сидел на обледенелой лавке.

Пустынная аллея. Он не помнил, как сюда попал. Посмотрел на часы, как будто время теперь – единственный его ориентир в запутавшемся мире.

Михаил испугался, что сходит с ума с этими своими фантазиями о другой, правильной жизни. Чего уже только не происходило в них, каких только событий не было пережито, и он ощущал эту выдуманную жизнь гораздо более настоящей, более материальной, плотной. Тогда, на аллее, он даже подумал поехать в дом к той женщине, он помнил дорогу. Он думал, придет, она ему откроет и скажет:

– Милый, замерз, ужин как раз готов.

Больше того, он поехал. И постоял у дома. И посмотрел на ее окна. Войти не решился.

В этот же вечер, в ночь практически, зашел в круглосуточную аптеку и попросил хорошее снотворное. Все-таки он хотел жить, а не грезить. Какую-то ценность своей реальной жизни он всё еще ощущал. Или просто хотел добраться до смысла, до развязки.

Снотворное действовало, он засыпал, сны не приходили. Силой воли отучил себя грезить наяву. Мать заметила, что наконец-то он стал лучше выглядеть. Она переживала, что он не поехал с женой. Искала в этой непоездке другую причину. Боялась, что ее сына обидели, обманули, предали.

Мать сварила холодец, испекла рулет с грецкими орехами и черносливом, потушила говядину с овощами, накрутила паштет из печени. И всё ей казалось мало, недостаточно, казалось прозой. Она считала Новый год праздником поэтическим, волшебным.

Они встречали этот Новый год вдвоем с Михаилом, Дашка уехала к друзьям за город. Михаил сидел весь вечер у себя, за работой, он служил техническим переводчиком в фирме, а компы ремонтировал по знакомству, отлично разбирался и в железе, и в программном обеспечении. За два часа до полуночи мать принялась накрывать стол в большой комнате. Постелила традиционную белую скатерть, достала и перемыла новогодний чешский сервиз, хрустальные бокалы. Поставила коньяк. Проверила, как лежит в холодильнике шампанское. Погасила свет и полюбовалась на елку, на мигающие разноцветные огоньки. И тут сообразила, чего им не хватает для праздника. Для поэзии зимней ночи. Она заглянула в комнату к сыну и попросила сбегать в круглосуточный за мороженым.

– Возьми самое дорогое, самое лучшее, белое, пломбир. И воздуха заодно глотнешь, целый день за экраном, под излучением.

На кафельном полу в подъезде – цветные конфетти. Михаил поморщился от одной только мысли, что оно налипнет на подошвы. Он пробрался к лифту, нажал черную кнопку, и она загорелась. Маршем ниже, на площадке у окна, стоял в тени человек, и Михаилу почудилось, что он на него смотрит. Михаил от человека отвернулся. Лифт подъехал и отворил двери. За поручень кто-то засунул промокшую, грязную рукавицу. Михаил в лифт не шагнул и повернулся к человеку внизу. Лифт замкнул двери.

Михаил спустился на марш. Человек, к которому он подступил, выпрямился.

Актер.

Он смотрел на Михаила и смущенно улыбался. Голова коротко острижена, на лице проступила рыжеватая щетина. Он мало уже походил на себя прежнего, постарел, осунулся, глаза запали. Но Михаил узнал его мгновенно. Он, кажется, даже раньше его узнал, чем рассмотрел. Едва лишь почувствовал взгляд, знал уже, кому он принадлежит.

– Ждете кого-то? – негромко поинтересовался Михаил.

– Я? Нет.

– А что стоите здесь?

– Так. Греюсь.

– Холодно на улице?

– Ветер.

– А я подумал, что вы ждете кого-то.

Не уходил, не мог вот так просто уйти Михаил, он должен был разгадать, почему здесь актер, зачем. Да и актер как будто бы ждал чего-то от него.



– Вы из шестьдесят седьмой квартиры вышли, – заметил актер. – Вы там живете?

– Нет, – почему-то соврал Михаил.

– А Даша? Вы ее знаете?

Вопрос поразил Михаила.

– Стоп. О чем вы?

– Вы ее знаете?

Михаил заглянул в полубезумные, потемневшие глаза актера и решил сказать правду. Чтобы всё прояснить. Чтобы иметь право спрашивать.

– Даша – моя сестра.

– Ой, в самом деле? – актер обрадовался, облизнул сухие губы и придвинулся к Михаилу.

Михаил отстранился.

– И что? – спросил он холодно. – При чем тут моя сестра? Какое она к вам имеет отношение?

Актер рванул молнию на куртке, полез во внутренний карман и что-то вытащил оттуда, что-то плоское, дрожащее, бумажное. И протянул Михаилу.

Затертый, пожелтевший конверт. Михаил взял его, рассмотрел. Письмо. Актеру, в колонию, от Даши. Михаил взглянул на актера. Он смотрел взволнованно, ожидающе. Михаил вытянул из конверта листок, и актер прикусил нижнюю губу.

«Здравствуйте, я много раз хотела написать Вам. Вы подумаете, что я дурочка. Вот поэтому я и не писала, что Вы так подумаете. А сейчас пишу потому, что все Вас ругают, и в интернете, и по радио, везде.

Я хочу Вам сказать, что тоже один раз чуть не убила человека, пульнула в девочку камнем, мимо, повезло. Могла в голову. Вы мне сейчас снитесь каждую ночь, и мы вместе идем. Я просыпаюсь с мокрым лицом, плачу. Ответьте мне на письмо. Ваш адрес мне выпросила подружка, у папы, он работает в МВД. Мы будем писать друг другу, и Вам будет легче. Я Вас очень люблю. Даша».

Михаил опустил листок и встретился с потерянным взглядом актера. Даже неловко было смотреть на такого совершенно раздавленного, униженного человека.

Он ждал, что Михаил скажет. Но Михаил хранил молчание. Листок сложил и аккуратно спрятал в конверт. Протянул актеру. Но тот не решился забрать конверт, как будто не имел уже на него права, да и никогда не имел.

– Я ей не ответил, – вымолвил он.

– И слава богу.

– Да.

– Других писем она не писала?

– Нет-нет.

– Большое облегчение. Но сейчас что вы от нее хотите? Чего ждете?

– Я?

– Ну не я же.

Актер молчал растерянно.

– Дома ее сейчас нет. Она у друзей, встречают Новый год своей компанией. И парень у нее есть, он тоже там. Вы меня слышите?

– Да-да, конечно.

– Чего вы вообще ждали? На что надеялись?

– Я сам не знаю.

– Даже если бы она дома была? Что бы вы ей сказали? Неужели бы это письмо сунули? – Михаил потряхнул письмом.

– Нет.

– Она вам что-то должна этим письмом?

- Нет! Я, я сам не знаю, я знаю, что сглупил.
- Новый год не с кем встретить?
- Да.
- Ничего страшного. Встретите один, спать ляжете пораньше.
- Мне вообще идти некуда. В принципе. Квартира того, ушла за долги.
- Я сожалею, но Даша тут ни при чем.
- Конечно.
- Идите к друзьям, к знакомым.
- Я пойду. Конечно. Всё правильно.

Глаза у актера опустели и смотрели уже без всякого выражения.

Хлопнула наверху чья-то дверь, запахло сигаретным дымом. Актер взглянул на конверт в руке Михаила. Отделился от подоконника и тихо отправился вниз по лестнице стариковским шагом. Михаил услышал, как открывается и закрывается дверь подъезда. Подошел к окну.

Актер медленно шел через двор. Поскользнулся на льду, взмахнул руками, удержался. Черная ссутулившаяся фигура. Михаил разорвал конверт вместе с письмом. Старая бумага рвалась легко. Руки дрожали.

17 марта был будний день, и все они встали рано, засветло. Вместе сели завтракать. Бубнило радио, которое мать всегда включала, чтобы услышать погоду. И, когда передавали прогноз, она им говорила:

- Тише-тише!

Даже если они молчали. А сама переставала жевать и слушала.

Пообещали туман и гололед, минус два утром, до нуля днем; сразу после прогноза ведущий утреннего эфира сообщил, что сегодня хоронят известного актера, еще два года назад благополучного человека. Девушка – она тоже вела эфир – ахнула совершенно искренне и стала расспрашивать:

- Где умер? В тюрьме?
- Нет, – сказал ведущий, – он вышел в декабре, по амнистии.
- Отчего же умер? Такой молодой! Сколько ему было?
- Не знаю, сколько, может, кто-то позвонит нам из слушателей, скажет. Умер он в больнице, на Галушкина, его нашли где-то в районе Язуы, с обморожением, привезли, алкогольное опьянение, конечно.

- Да, он пил.
- Потому и в тюрьму попал, что пил, едва уже себя помнил.
- Бедный-бедный.
- Знаешь, а мне его нисколько не жалко. Сам виноват.
- А мне жалко. Он очень был талантливый, очень.

Дашка ковырялась в тарелке, глаз не поднимала. И вдруг всхлипнула.

- Даша, – растерянно воскликнула мать. А Даша уткнулась в ладони и разревелась.

Мать гладила ее по спине, по волосам, смотрела беспомощно на Михаила.

Даша увернулась от материнской руки, убежала в ванную. Там зашумела вода.

- Чего она так? – спросила мать Михаила.

В студию дозвонился врач из той самой больницы на Галушкина. Ведущий оторопел от радости, что такой важный свидетель у них в эфире. Врач сказал, что ничего уже нельзя было сделать, полная интоксикация организма плюс обморожение, слишком поздно он к ним попал. Сказал, что прощание с актером будет у них, в больничном морге, желающие могут прийти завтра в десять.

Вернулась зареванная Дашка. Мать налила ей свежего чая, погладила по руке.

- Всё нормально, – сказала Дашка, – всё прошло. Чего теперь.

Она уверила, что действительно успокоилась, только попросила мать переключить на какую-нибудь другую программу, без новостей, чтобы только музыка.

Михаил взял на работе отгул и поехал к десяти на Галушкина. Он думал, что народу соберется немало. Но на снегу возле морга топтались всего трое. Дед с младенческими голубыми глазами, возможно, родственник. Две пожилые дамы. Они походили на старомодных театралок, которые приносят с собой в театр торжественные туфли, пудрятся, пахнут весенними духами и всегда преподносят актерам цветы. Они стояли с печально опущенными хризантемами. Девственно-белыми, холодными и невинными.

Через двадцать минут после назначенных десяти часов двери отворились, их пригласили войти. Дед отбросил сигарету, и она прошипела в снегу. Михаил вошел в промозглое помещение последним.

Священник говорил. Михаил прислушивался, он надеялся услышать что-то важное, то, чего не знал сам. Священник говорил о прощении. Лицо человека в гробу было совершенно белым. Чужое лицо. Михаил никак не мог узнать в нем актера. Он повернулся и отправился к выходу. У самой двери стояла девушка. То существо, которое он так пожалел когда-то, чью мимолетность так остро, до боли, почувствовал. Она стояла с темными розами. Их взгляды встретились. Михаил понял, что и она его узнала. Мгновенно. Поняла, кого приняла тогда, в автобусе, за актера.

Ни слова они друг другу не сказали.

Михаил отворил дверь и вышел под серое мглистое небо. Направился по дорожке от морга. У ворот оглянулся. Почему-то он думал, что девушка идет за ним. Но никто его не преследовал.

В метро от тепла и духоты, однообразного движения, круговорота толпы, черных окон, качки на него нашло оцепенение. Он проехал свою станцию, не стало сил встать и пробраться к выходу. Он ехал всё дальше и дальше от собственного дома и думал, зачем она пришла. Тоже чувствовала вину?

Думал, что так и не прожил свою жизнь.

## Поездка

Он сказал жене, что таких маслин нет, и она попросила заехать еще в один магазин, а если и там не будет, то возвращаться домой, так как гости уже начали собираться. Он спрятал телефон и направился к машине.

Темно, восьмой час, середина декабря, в Москве слякоть.

Он уселся в машину, но поехал не сразу. Мокрый снег залепил лобовое стекло, он перестал видеть, что происходит снаружи, мир ограничился холодным салоном, свернулся в горшину, свился в клубок. Он включил приемник. Чей-то голос сказал: «...около нуля...». В боковое стекло постучали. Лицо за стеклом было размыто, оно как будто таяло.

Он опустил стекло. Женщина сказала продрогшим голосом:

– Простите, вы не могли бы меня подбросить?

Дыхание ее было влажным.

– До метро. Двести рублей.

Он отворил дверцу. Она уселась и сказала:

– Холодно.

До метро было минут десять. Ехал не спеша. Женщина ему понравилась, только он не знал, чем. Он хотел угадать, прежде чем ее высадит. На светофоре перед метро спросил:

– Далеко вам еще?

– В область.

Часы у нее на запястье. Старые. Он помнил такие у мамы. Что-то в ней чудилось из того, давно прошедшего времени.

Сейчас таких лиц не бывает – так примерно он подумал.

Их только на фотографиях можно увидеть или в хронике.

Лицо казалось молодым – полумрак растворял морщинки. И хорошо, пусть растворяет, иногда совершенно не хочется никакой четкости, ясности, определенности. Полумрак растворяет и разделяет.

– Как долго красный! – воскликнула она.

– Торопитесь?

– Электричка в двадцать сорок пять. Следующую ждать два часа, я не выдержу и усну где-нибудь в зале ожидания, я ночь не спала и едва на ногах, если я усну, то уже до утра, и опять весь день маяться, потому что человек, к которому я еду, бывает дома только к вечеру, а мне его нужно застать. Долгая история. Но почему красный до сих пор? Может, светофор сломался?

– Правительство едет.

– Черт!

Когда она говорила, иллюзия того, что ее лицо принадлежит прошлому, исчезала. И таким образом, когда она то молчала, то говорила, ее лицо то уходило в туман времени, то выступало из него и становилось прозаически близким. Это волновало. Еще ему было любопытно, один он ее так воспринимает или нет?

«Дворники» упорно расчищали поле обзора, поле снежной битвы.

– Трасса пуста, – сказал он, – сейчас промчатся.

– Тогда вот что, – сказала женщина и выложила на приборную панель две сотенные, – спасибо, а я побегу, быстрее вас к метро успею.

Она стала отщелкивать ремень безопасности.

– Куда вам конкретно ехать?

– По Ярославке. Далеко. За Пушкино.

– Пристегните ремень. Я вас довезу.

Он не очень разбирал выражение ее лица в полумраке, и она, очевидно, не разбирала, что выражает его лицо, всматривалась близоруко-удивленно.

– Вам по пути?

– Да.

Правительство тем временем пролетело. Опустевшую трассу перебежала дворняга, точнее, перешла. Она не спешила, знала каким-то образом, что можно не спешить.

– Я смогу еще двести рублей заплатить, не больше.

Дали зеленый.

Дома собирались гости, жена волновалась, посматривала на часы. Николай Алексеевич вез незнакомую женщину далеко, за город. Совершал неразумный поступок. А Николай Алексеевич был человеком разумным.

Что на него вдруг нашло, он и сам не мог объяснить. Почему-то не хотел он упускать эту женщину, она его встревожила, он сам себе должен был разъяснить чем. Да, в этом, наверно, и заключалось всё дело: он не любил неясностей.

Она меж тем успокоилась в мягком кресле, расслабилась и задремала. Он выключил радио. Старался ехать ровно, без толчков. Зазвонил его мобильник. Он нажал кнопку, сказал в наушник:

– Да?

Старался говорить негромко, но спутница проснулась. Ночь скрывала, скрадывала приметы времени. Время было украдено, они ехали вне его по ночному шоссе.

Он разъяснил в наушник:

– Закон трактуется неоднозначно. Формулировка должна быть особенно осторожной. Я предлагаю вернуться к первому варианту.

Отключил телефон.

Ехали в ровной тишине, и он думал, что сейчас она снова уснет, сомлеет. Огни приближались и вдруг оказывались позади.

– Вы юрист? – спросила она.

– Нет, – соврал он.

Она смотрела вперед, на дорогу, отрешенно, вся отдавшись движению, полету. В темноте это и правда казалось полетом, тверди не чувствовалось, огни проносились в черном пространстве, почти космическом.

– Я ресторанный критик, – зачем-то сказал он.

Он остановил машину и приоткрыл дверцу, чтобы вдохнуть здешний тихий воздух. Услышал шорох и не сразу понял, что это с шорохом идет снег. Пассажирка выложила еще двести рублей на приборную панель. Попрощалась и забыла о нем.

Он наблюдал, как она выбирается из машины, идет к подъезду, поскользывается и удерживает равновесие.

Николай Алексеевич видел из машины окно освещенного желтым светом подъезда. Видел ее, поднимающуюся по лестнице. Картинка в волшебном фонаре.

Она поднялась на площадку.

На втором этаже осветилось окно.

Он всё чего-то ждал. Медлил уезжать.

Вдруг увидел в волшебном фонаре, как она спускается по маршу, придерживаясь за обшарпанные перила белой рукой.

Свет всё горел на втором этаже.

Она вышла из подъезда. Прежние ее следы уже занесло.

Свет в окне погас, но кто-то там стоял за потемневшим окном и смотрел, как она выходит.

Снег поскрипывал.

– Садитесь, – позвал он ее.

Она обошла машину и села рядом с ним.

– Зачем вы не уехали?

– Ждал.

– Чего?

– Не знаю.

Она молчала и смотрела в залепленное снегом окно. «Дворники» замерли.

– Куда едем? – спросил он.

– А вам не надо домой?

– Нет. Я в отпуске.

– Вы мне скажите сразу, чего вы от меня ждете?

– Ничего.

– Денег у меня нет.

– Я понял.

– И... ничего вы от меня не дожидаетесь.

– Я понял.

– По виду вы человек солидный. Положительный, как сказали бы прежде.

– Я и есть положительный. В конце концов, выбор у вас небольшой. Тот, к кому вы так стремились, вас даже на порог не пустил. И вы остались одна в спящем поселке, без денег, без надежды.

Она вдруг рассмеялась.

– Так что? – спросил он. – Назад в Москву?

– Тот, к кому я так стремилась, уехал из дома. И мне по-прежнему нужно его увидеть.

– Куда он уехал?

Снег кончился к утру. Далеко от Москвы.

Спутница его спала, он пристал на обочине и тоже уснул. Очнулся в сумерках. Ее не было. Он потрогал пустое, холодное сиденье. Машины проносились, вздымая грязь. Он выбрался наружу и огляделся. Место было грустное. Серое небо, снежное поле. В деревне на той стороне уже зажглись огоньки. Там, у обочины, стоял старик и никак не мог решиться перейти. Машины проносились на огромной скорости, старик боялся. Почти уже решался, но, увидев горящие, летящие фары, отступал. Николай Алексеевич побрел по обочине. Ушел недалеко, чтобы не упустить из виду машину.

Он проверил карманы. Бумажник, деньги, карточки, всё было на месте.

Куда она могла уйти? Зачем? Может, остановила другую машину. Или вышла размять ноги, и кто-то притормозил, спросил, в чем проблема, и предложил подвезти, по пути оказалось. Хотя бы записку оставила. И он бросился к машине – вдруг не заметил записку.

И на полу посмотрел, не нашел. Почему-то остался уверен, что записка была, что видел спросонья белый листок, соскользнувший с приборной панели на пол. Он его затоптал, вынес наружу, и записка пропала в грязной снежной каше.

Старик всё стоял неподвижно на обочине. Всё должно было остановиться, машины, время, чтобы он перешел. Николай Алексеевич достал тряпку, протер стекла, зеркала. От усердия оттопырил губы. Действие помогало отвлечься.

Он не мог решиться завести мотор и уехать. Он чувствовал себя старым, старше старика на обочине. Грязным, грузным, некрасивым, брошенным и глупым до пустоты, до звона в голове. Ведущий юрист, уважаемый человек, отец семейства, где он? Лежит мертвый в московском переулке.

Николай Алексеевич чувствовал себя убийцей себя самого. Он был сейчас один в безвоздушном пространстве. Земля – дом, колыбель, – видна, но не доступна, он кружил вокруг нее на далекой орбите, кислород еще есть в легких, но скоро закончится.

Николай Алексеевич бросил тряпку в багажник. Фура проехала, он перешел на ту сторону, взял старика под костлявый локоть, переправил.

Старик побрел по обочине. Николай Алексеевич смотрел ему вслед. И сам пошел следом. Куда приведет его старик – неважно. Даже неинтересно. Свернул к автозаправке. Старик ушел дальше.

Николай Алексеевич сходил в туалет, ополоснул лицо, выпил жутко горячий, огнем дымящийся, обугленный кофе. Он был один в крохотной забегаловке. Смотрел, как заправляют грязный внедорожник. Водитель курил в сторонке, на краю асфальтового круга. Ничего интересного в таком бездумном смотре, кроме того, что ты видишь, а тебя нет, тебя нет, а ты видишь.

Смял бумажный стаканчик.

Вернулся к машине.

Она сидела как ни в чем ни бывало. Пакет со свертками лежал на заднем сиденье. Она смотрелась в зеркальце, подводи́ла губы. Он уселся, машина качнулась от его тяжести.

– Я поесть купила, – сказала она. – На той стороне магазинчик, очень симпатичный.

– У вас же денег нет.

– Оставалось немного. А вы куда ходили?

– В туалет.

Смеркалось. Ели они в полумраке. Она взяла хрустящую пачку и попросила зажечь свет. Прочитала всё, что на этой пачке написано: название, производитель, состав, срок годности. Вслух, ровным голосом. Прочитала и взглянула на него.

– Нормально, – сказал он, – не отравимся.

– Будете?

– Не сейчас.

Она бросила пачку в пакет.

– Вы, наверно, учительница, – сказал он.

Уже далеко отъехали от той обочины, еще дальше от земли-колыбели, в новый, неизведанный мир.

– Нет, – сказала она, – не угадали. Хотя в детстве думала. Видела себя в черном строгом платье у доски с указкой в руках... И тишина в классе.

Она смолкла.

– Я хотел быть шпионом. Серьезно. Жить в какой-нибудь загранице, пить виски в баре, ждать встречи с тайным агентом. Меня привлекала двойная жизнь. Жизнь мнимая и жизнь реальная. Мнимая – очевидна...

Она его не слушала, смотрела в окно отрешенно. Он был ей неинтересен. Она была в своем времени, в которое он не знал ходу.

Приближался большой город, шоссе раздалось, фонари появились, но они свернули на дорогу узкую, темную, и ехать по ней предстояло целую ночь.

– ...Проездом, из Белоруссии, там у нас родные, домой возвращаемся...

Она молчала, не возражала, не мешала ему нести всё что угодно, строить любую реальность с ней в главной роли. Пожилой, добродушный милиционер сидел на заднем сиденье, слушатель. Он их тормознул на заброшенной остановке среди поля, сказал:

– Час жду, никого, ни одной машины, автобус рейсовый, видно, сломался, это счастье, что вы, думал, заночую тут на скамейке, а скамейка ледяная, а куртку форменную продувает, сейчас приеду, ноги попарю, водки выпью, и в постель.

В машине он постепенно отогрелся и спросил, откуда они и куда, сказал, что это у него стариковское любопытство к людям. И Николай Алексеевич начал про родственников, про Белоруссию. Женщина взглянула недоуменно и не прервала.

– ...Устали, по дому соскучились, у нас дом свой, огород, садик небольшой, из окошек реку видно.

– Хорошо, – сказал милиционер.

– Больше, конечно, по детям соскучились, у нас их четверо, тетка с ними сейчас, моя сестра, она у нас старая дева.

– Четверо деток – это много. Редкость, в том смысле. У кого сейчас четверо? Я и не знаю. Справляетесь?

– Потихоньку.

– Их еще кормить надо. Вы чем занимаетесь?

– Ресторанный критик, – сказала женщина, глядя в окно, лица ее он не видел.

– Она шутит, – не растерялся Николай Алексеевич. – Какие у нас рестораны? Магазины у меня небольшой, продукты. Жена бухгалтерией занимается, я – доставкой, персоналом, работы много. Сестра нам помогает по дому, но я ей зарплату плачу, вы не думайте.

– Хорошо, – милиционеру всё больше нравилась нарисованная картина.

– Мы с женой в одном классе учились, она отличницей была, а я так. Не любил отличниц, мне казалось, они все дуры.

Милиционер рассмеялся.

– Как-то мы дежурили вместе по классу, полы мыли после уроков, и я руку порезал, стекло было на полу, я не увидел. Я крови испугался, а она нет, руку мне перевязала носовым платком, я поразился, какой чистый платок и как вкусно пахнет, и она отвела меня в больницу, потому что кровь все-таки шла, мне даже шов наложили, до сих пор след. Вот с тех пор я жить без нее и не могу.

– Хорошо, – сказал милиционер, сторонний человек.

И рассказал, что его жена сейчас болеет и по дому он всё делает сам, что устал уже от зимы, хочется солнца, а летом внуки приедут, он их в лес поведет, землянику собирать.

– Я люблю варенье из земляники, – сказал Николай Алексеевич.

Милиционера высадили у деревни, от его ста рублей Николай Алексеевич отказался.

Проехали молча несколько минут.

– Да, – сказал Николай Алексеевич, – совсем пустая дорога, как во сне.

– У вас номер московский, – сказала женщина.

– Что?

– Милиционер мог заметить, что номер московский. Он долго нам вслед смотрел. Не обратили внимания?

– Ну и что? Разве это преступление – московский номер? Думаете, он нас в розыск объявит? Из-за пустого разговора? Надо больно. Он уже ноги парит.

Еще через пару минут:

– Шрам у вас правда есть?

– Нет.

Чпок. Или не такой звук? Более сухой. Цток. Что-то вроде этого. Мяч о ракетку – с таким звуком. Скучная игра. Скучная.

Николай Алексеевич знал, что это несправедливо. Что под солнцем и в полной почти тишине натянуто напряжение, невидимые силовые линии, надо только подключиться.

Цток. Цток. Разряд.

Но не сегодня, не сейчас.

Солнечная картинка в телевизоре мерцала в углу столового зала. Картинку смотрели несколько человек. Николай Алексеевич со спутницей сидели от них далеко. В зале было прохладно, и еда быстро остывала и становилась невкусной. Тем не менее Николай Алексеевич аккуратно съел всё. Женщина ела мало. Поставила стакан с недопитым чаем.



– Вы в порядке? – спросил Николай Алексеевич.

– Устала.

Она посмотрела в дальний угол, в мерцающий экран.

– Теннис кончится – будет кино. Комедия.

Она промолчала.

– Что вы обо мне думаете?

Она повернулась, посмотрела на него отстраненно, почти так же, как на ту дальнюю картинку, откуда-то с другой стороны света.

– Не знаю. Ничего. Мне не очень хочется вникать в ваши обстоятельства, если честно. Вас это обижает?

Он помолчал.

«Цток. Цток», – говорил мяч.

– Обижает.

– Напрасно.

Допила чай, пожелала вежливо спокойной ночи. Ушла к себе в номер. К себе от него.

Официантка собрала грязную посуду, он попросил пива. Сидел один за голым столом. Уже началась комедия, люди у телевизора ржали, молодежь. Одна девушка отвернула лицо от телевизора. Она смотрела на него. Смотрела без улыбки, ошалелыми какими-то глазами. Как будто у нее была температура, жар. Он, толстый, небритый, помятый, был частью ее бреда. Что-то вроде этого. Он отвел глаза.

На лестнице он споткнулся и выругался. Услышал чей-то смешок. Оглянулся. Никого.

Сразу пошел в ванную. Принял душ. Всё было в общем чистым, даже новым, но каким-то шатким, хлипким, недостоверным. Он чувствовал свою тяжесть. Еще из ванной он услышал, что в дверь стучат, но спешить не стал. Завернул кран. Вода со всхлипом ушла в сток. Что-то было человеческое в этом всхлипе.

В дверь опять постучали. Он не спешил. Оделся. Подошел к тонкой двери. Сигаретный дым проползал сквозь щели из коридора. Он повернул ключ и отворил. На пороге стояла та девушка из зала. На этот раз она улыбалась.

Кажется, она забыла о сигарете в своей руке. Столбик пепла вырос и опал. Ни слова не говоря, девушка переступила порог. Николай Алексеевич молча ее пропустил. Девушка заглянула на ходу в ванную, в ней всё еще горел свет, и бросила окурочку в унитаз, он шлепнулся в воду. Она погасила в ванной свет. И в комнате. В комнате она и ждала его, он всё еще стоял в коридоре.

Ей понравилось, что он влажный после душа. Он ничего на это не ответил. Ему не до слов было, он так захотел эту полупьяную бесстыжую девку. Он сам как будто опьянел, ее нечистым дыханием надыхался, она не поддавалась, она с ним боролась, ей это нравилось, она была очень сильной, эта девчонка, он был старый, толстый, но не сейчас, сейчас всё это было неважно, он был сильнее ее, он раздавить ее мог, придушить. Хлипкая кровать ходуном ходила, стонала.

Ей чего-то еще хотелось. Он лежал уже неподвижно, опустошенный. Она рукой провела по его груди, животу. Он ее руку остановил. Убрал с себя.

– Вы из Москвы? – спросила она как-то по-светски. Очень у нее смешно это вышло.

– Нет.

– В Москве народу много. Дед говорит, войны давно не было.

Он расхохотался. Девушка тоже рассмеялась. Она не очень поняла, что этот смех значит, чем вызван. Отсмеявшись, Николай Алексеевич сказал:

– Ты извини, я не могу вдвоем спать, койка узкая.

Она встала. Он наблюдал, как она ищет свои колготки, он видел, где они валяются, но молчал. Нашла, натянула. Встала перед ним.

– Рублей триста не одолжите?

– Брюки подай.

Дверь за ней захлопнулась, и он уснул почти сразу. Спалось ему легко в эту ночь.

Последний рубеж отделял их от пункта назначения. Река.

У спуска он остановил машину и заглушил мотор. На зиму понтонный мост убрали, переправлялись по льду.

Она спала. Он медлил. Он представил вдруг, что она умерла. Не сейчас, давным-давно. И следа не осталось от нее. И от него, сидящего сейчас рядом с ней. Машина, река, ночь – всё прошло без следа, без памяти. И этой планеты уже нет.

Николай Алексеевич смотрел на свою живую руку (ногти отрасли безобразно), слышал дыхание спящей, серый морозный воздух стоял над землей, часы стрекотали на запястье. На самом деле ничего этого не было. Никогда. Николай Алексеевич просто не существовал.

– Мы где?

Николай Алексеевич дернулся. Он чуть не расплакался от этого вопроса, от этого сонного голоса, вернувшего к жизни. Было уже утро, ясно виднелся недалекий тот берег, маленькие дома, серый дым над печными трубами.

На вопрос Николай Алексеевич не ответил. Завел мотор.

– Секунду, – остановила она.

Достала из сумочки косметичку. Посмотрела на себя в круглое зеркальце. Припудрилась.

Он ехал тихо по льду, боязливо. Мальчик на лыжах шел навстречу. Скользнул любопытным взглядом.

– Налево.

Он свернул в переулок, узкий, с черными дощатыми заборами, с отвалами снега по обе стороны проезжей дороги.

– Чуть помедленнее.

Она всматривалась в дома по левой стороне. Старые дома, обветшалые, и подновленные, и с надстройками, сонные еще, и уже проснувшиеся.

– Остановите.

Этот дом еще спал. Синица клевала сало и качалась вместе с ним, и ветка яблони, к которой оно было привязано, качалась. Осыпался снег. За окнами белели занавески. Крыльцо запошило, шли по нему кошачьи следы.

Женщина приотворила дверцу, оглянулась на Николая Алексеевича.

– Спасибо. И...

Но не договорила, что «и...», кивнула, выбралась из машины.

Николай Алексеевич не уезжал, медлил.

Она взошла на крыльцо. Позвонила. Отступила от двери, так что тот, кто отогнул в доме занавеску (самый край), увидел ее из окна.

Дверь отворилась, и она исчезла за ней.

Николай Алексеевич ждал. Прошла женщина с пустым ведром. В доме на другой стороне затопили печь.

Занавески неподвижно белели за окном.

Кошка появилась. Постояла на крыльце и спрыгнула.

Николай Алексеевич ждал.

Из дома на взгорке вышли две девочки и стали выбивать в снегу половики. И Николай Алексеевич представил свежий запах этого половика, когда он ляжет в протопленной комнате на чисто вымытый пол.

Дверь, за которой скрылась его спутница, отворилась. На крыльцо вышел мужчина. Он был в мягкой рубашке на голое тело, в трениках, в тапках на босу ногу.

Синица давно улетела, а сало качалось.

Мужчина вынул сигареты. Закурил. Николай Алексеевич всё пытался рассмотреть его лицо, но оно как-то не давалось, ускользало в тень.

Мужчина курил. Дверь оставалась приоткрытой. Николай Алексеевич завел мотор.

В центре стояли дома в несколько этажей, большей частью старинные, купеческие, толстостенные, с арками во дворы. Николай Алексеевич припарковался у парикмахерской. В широких окнах горел теплый свет, в кресле сидел человек в белой простыне.

Николай Алексеевич попросил вымыть голову, побрить лицо, ногти привести в божеский вид. Парикмахер холодно пах одеколоном. Смотрел на Николая Алексеевича подозрительно. И за работу взялся неохотно, как бы с сомнением. Закончив же, удивился:

– Глядите-ка, другой человек.

Николай Алексеевич настороженно встретился с собой взглядом.

На третий день он вернулся в Москву.

С женой они прожили к тому времени двадцать лет. Они подходили друг другу, любили оба аккуратность, удобную одежду, удобную, хорошо организованную, неспешную жизнь. Дети их радовали.

Жена говорила подруге, что у нее объяснения нет. Она предпочитает обо всем забыть, не думать. Николай Алексеевич утверждает, что звонил ей в тот вечер. Он утверждает, что говорил с ней в тот вечер! О срочной поездке, о том, что вернется через неделю.

– Он лжет, я знаю, – говорила подруге жена. – И он знает, что я знаю. Но мы делаем вид, что он все-таки звонил, а я почему-то об этом не помню. Так удобнее.

## Объект

### *5 октября 1986. Боровск-23. Письмо № 1*

Юлька, привет! Письма от тебя все получила, я тоже буду нумеровать, как ты. Первое и далее. Я ничего не отвечала, так как времени не находила. Зато теперь у меня времени выше крыши, девать некуда. Нет, в больницу я не попала, всё гораздо хуже.

Ты, наверное, удивилась, что письмо из Боровска-23, а не из Ярославля. Сейчас думаю, какого черта я согласилась, зачем не осталась в Ярославле, польстилась на командировочные.

В Ярославль мы прибыли: я, Танька Дьячкова и Гуля Бакаева. Общежитие новое, не то что наше. Небольшое, мирное, семейное. На каждом этаже душ. Правда, воду горячую отключили, и мы ходили в баню. Баня и баня, ничего особенного, голые тетки. Снаружи парень сидел на дереве и смотрел через открытую форточку.

Город мне понравился, чистый, река большая, магазины, конечно, не московские, но тоже ничего. Брали яйца, хлеб. Масло растапливали на сковородке, крошили хлеб, заливали яйцами, и вполне себе ужин. Завтракали на фабрике-кухне. Каша, чай.

Дней через десять начальник предложил Боровск-23. Объяснил, что числиться мы по-прежнему будем в Ярославле, на головном предприятии, а жить и работать на объекте, то ли в Московской области, то ли в Калужской, как-то там хитро устроено, на карте не отыщешь. Зарплата плюс командировочные. Можно добраться до Москвы часа за два с хвостиком. Многие снимают квартиры вскладчину, чтобы ездить на выходные. Хочешь, в театр, хочешь, по магазинам. Соблазн велик. Подписали бумаги, получили командировочные и отправились.

Прикатили на поезде в Москву. Были мы когда-то ее жители, родные, кровные, а теперь чужаки, никто. Походили маленько по прежним местам. Помнишь «Шоколадницу» на Пушкинской улице? Жареные цыплята. Смородиновое желе. Посидели мы в «Шоколаднице». Рядом с ней закусочная – «Зеленый огонек». Пять лет прожила в Москве, сто раз мимо проходила и никогда не заглядывала. Чего-то мне грустно от этого стало.

Танька говорит:

– Это, наверно, для шоферов закусочная, зеленый огонек, такси свободно.

Доели цыплят (скучаю по ним, пишу, и слюнки текут, эх-эх), доели желе (со взбитыми сливками, попробую хоть еще разок, или уж всё, нет спасения?). Выбрались на улицу, посмотрели на солнце и нырнули в «Зеленый огонек»; через два шага дверь.

Полуподвал. После солнца темно. Посудой гремят. Мужик стоит за столом (сидячих мест не предусмотрено), пельмени наворачивает.

Танька говорит:

– Ну что, довольна?

В общем, помотались по Москве, как сироты, устали и уже рады были, что время ехать. С Киевского вокзала до станции Балабаново. Там спички делают, обращала внимание на коробки?

Электричка наша пришла в Балабаново вовремя, и автобус ждали недолго, и влезть успели первыми, так что сидели, я – у окна.

Танька сказала:

– Хороший знак.

Она по всякому поводу что-нибудь да скажет. А Гуля молчит и смотрит, и всё кажется, что с укором. Я и сигарету при ней закурить стесняюсь, в сторону отхожу.

Время было четыре часа, когда автобус отправился, еще светло. Ехать интересно, места незнакомые; то поле, то роща, то дома стоят. Народу поначалу набилось много. Тетки с кошелками, несколько мужиков, один, военный, вошел последним. Видный, ему в кино сниматься, белых офицеров играть. Иногда голову повернет вбок, и я люблюсь.

Остановки поначалу случались часто, народ выходил, выходил, и в конце концов остались в автобусе мы, офицер и тетка с мальчиком-подростком. Офицер устроился на свободное место. Смотрел в окошко не отрываясь, а за окошком тянулся лес и лес, всё больше сосновый. Дорога узкая, сосны большие.

Водитель включил фары, а в салоне сумрак, прохладно, мотор гудит низко. Танька ушла на свободное сиденье, ноги вытянула. Ехала бы я так и ехала, смотрела бы на дорогу, на пляшущий перед нами свет. Военный вдруг поднялся, подошел к водителю, ухватился за поручень.

И сказал:

– Командир, что-то долго мы едем.

Водитель ничего не отвечал. Офицер не отходил от него, автобус катил, сотрясаясь на выбоинах. Я посмотрела на часы. Минут двадцать, как должны уже быть на месте. Девчонки дремали. Женщина глядела встревоженно. Или мне так казалось. Мальчик дышал на оконное стекло, возникал туманный островок, и мальчик стирал его ладонью.

Дорога стала хуже, автобус потряхивало часто, хотелось уже добраться до места.

Автобус сбросил скорость и встал. Дорога упиралась в полуразрушенную стену с остатками ржавой колючки поверху.

Военный сказал:

– Ты проскочил поворот, командир.

Шофер ответил:

– Я новенький.

Танька фыркнула.

Мальчик прошептал что-то матери на ухо.

Мать попросила:

– Пять минут подождите.

Шофер заглушил мотор, отворил дверь. Мальчик выскочил и побежал за дерево. Мы все вышли на старую выщербленную бетонку. Оказалось не так темно, как виделось из автобуса, небо еще не погасло.

Мы с Танькой пролезли в пролом в стене, Гуля осталась у автобуса.

Увидели заросший плац, длинное серое здание с громадным шаром на крыше. Из дыры в шаре росла березка, как из глазницы в старом черепе. Из каждой щели пробивались растения.

Всё тихо под прозрачным небом. Я закурила, огонек не дрогнул – ни малейшего шевеления в воздухе. Как в заколдованном царстве. Автобус загудел.

Военный объяснил, что мы заехали на старый заброшенный объект, его строили заключенные еще до войны.

Мы ехали обратно, военный стоял возле водителя, смотрел на освещенную фарами дорогу. Ехали медленно, чтобы вновь не прозевать поворот. До места добрались уже в ночной тьме. У КПП светился фонарь.

Нам выделили комнату в местной гостинице. Гостиница в пятиэтажке, тут все дома пятиэтажные. Старое здание, выдавшее виды. В фойе телевизор на длинных ножках, диван, фикус в кадке. Чайник нам выдали, мы его вскипятили на общей кухне. Уперли чью-то заварку из шкафчика. Напились чаю с сахаром и рухнули спать. Гуля, четкий человек, завела будильник, не поленилась. И богу своему помолилась.

Ах, Юлька, ты, наверное, думаешь, чего я тяну, медлю и никак не перехожу к сути. А то и медлю, что больше мне делать нечего, кроме как медлить. Помнишь, мы в школе над Толстым мучились? Какие длинные предложения, рассуждения, как будто идет товарный поезд, вагон

за вагоном, вагон за вагоном, конца нет, а ты стоишь на переезде и ждешь. У меня предложения короткие, рассуждений мало (по скудоумию), а времени уйма. Вот я и занимаю себя, пишу, вспоминаю подробности. Пишу про мою жизнь и вроде как от нее отвлекаюсь. Поговорить мне об этом не с кем, кто меня станет слушать? А ты считаешь все-таки, пожалеешь меня и ответ напишешь.

Ночь я спала крепко, будильник не слышала. Танька меня растолкала. Гуля уже ставила чайник. Служебный автобус отходил от КПП строго в восемь часов, так что мы бежали. Мы бежали, а солдаты шагали по плацу и пели: не плачь девчоонка... Утро тихое. Остаться бы, пойти в лес, набрать грибов, посидеть на пне, покурить, поглядеть на золотую-то осень. На позолоченную. Смоет позолоту холодный дождь.

Автобус полон. Взял нас, закрыл двери и покатил. Гражданские и военные в салоне, но больше гражданских. Тащились минут десять от городка к Объекту, от КПП до КПП.

Предъявили пропуска, прошли охрану и направились по асфальтовой дорожке к длинному серому зданию с белыми шарами на крыше. Чистые шары, без пробоин. Антенны ловят сигнал из космоса, со спутника. Военная тайна?

Удивило меня сосуществование (вполне мирное) новейших ЭВМ, дисплеев и казенных столов тридцатых, наверное, годов. Новых столов полно, но есть и эти, старорежимные, тяжелые, впитавшие чернильные пятна. Мне достался такой, я обрадовалась.

Уважаемый стол, не с того ли ты забытого объекта (практически с того света)? Не далее как вчера побывала на твоей родине, там всё быльем поросло, а ты спасся.

Он, несколько телефонных аппаратов, черных, как каменный уголь, которым моя бабушка топит печь. И пожелтые плакаты на стенах: «Болтун – находка для шпиона!».

Комната, в которой мы сидим, громадная, больше, чем спортзал. Столы программистов стоят в два ряда, просторно, никто друг другу не мешает. Вдоль долгой стены, под узким во всю стену окном сидят инженеры. Паяют. Дымок синеет. Нам выдали каждой по прошитой и опечатанной тетради, карандаши, ручки. В тетрадях будем писать программы. По окончании рабочего дня тетради следует сдавать на хранение в сейф. Отлаживать программы надо ходить в дисплейный зал. Никаких тебе перфокарт, красота. Прогнал, получил распечатку.

День прошел нормально. Гуля свою программу написала быстро, Татьяна еще возилась, а я совершенно не понимала, как писать. Нарисовала елку. Зайчика. В обед отправились в буфет. Произвел впечатление. Можайское молоко – свободно. Рыба жареная нормальная. Картофельного пюре мне прямо гору положили. Но я умяла. Мы ж не завтракали. И не ужинали. Уже голова кружилась. Кольца песочные обыкновенные, но свежие. Чай, понятно, дурной. Но горячий. С сахаром нормально. Я спросила Гулю насчет программы, она губы поджала, но подошла после обеда, объяснила. Я старалась понять.

Сдали мы тетрадки в половине пятого нашему начальнику. Он посмотрел, полистал и спрятал в сейф. Собрались и поспешили домой. Длинный тоскливый коридор с дверями и плакатами, за поворотом фойе, выход. На выход надо предъявить пропуск. Стоит солдат у дверей и смотрит. Я сумку перекопала, карманы обыскала, не нашла пропуск.

Солдат говорит:

– Не могу пропустить.

Что делать? Девчонки уже на автобус опаздывают.

Я говорю:

– Бегите.

Они рванули на автобус, а я – к рабочему месту. Обшарила стол, на полу посмотрела, залезла в каждую урну. Сейф мне никто не открыл, чтобы в тетрадке посмотреть, начальник ключ сдал и уехал. Так что я оказалась вроде как в западне. Хоть плачь. Только плакать пока что не хотелось.

Я сидела в зале одна-одинешенька.

Белый свет люминесцентных ламп под потолком. Знаешь, Юлька, они не умеют светить молча, они подвывают. Негромко. Когда сидишь долго одна под их светом, слышишь.

Дверь отворилась, явились уборщица и солдат. Уборщица собрала мусор, намыла полы, солдат попросил меня выйти, погасил свет, запер дверь, опечатал. Я постояла, постояла и побрела на площадку, где разрешено курить. Села у стены на корточки, как зек, щелкнула зажигалкой. Тихо, глухо.

Докурила сигарету, поднялась, размяла затекшие ноги. Дотащилась по коридору до дисплейного зала. Дверь приоткрыта. Конечно, люди здесь торчат круглосуточно, обрабатывают космические сигналы. Нас предупреждали, что будут ночные смены.

Я вошла.

Дисплейный зал невелик. Десять экранов светятся жемчужным светом. Они подключены к большой ЭВМ в машинном зале. Люди сидят за экранами, как доктора, в белых халатах. Я тоже сняла с крючка халат, надела, длинные рукава завернула и устроилась на свободное место. Мой экран был тих, неподвижен, спал. На бодрствующих экранах бежали сверху вниз зеленые мерцающие столбцы цифр. И легко представлялось, что экраны – иллюминаторы, смотрят в морские глубины, мерцают зеленые водоросли, корабль наш опускается всё ниже, всё глубже, но дна не достигает, дна нет.

Меня тронули за плечо, я очнулась.

Высокая женщина с маленьким круглым лицом сказала негромко:

– Пойдем.

Я ничего не спросила, не удивилась, не обрадовалась, пошла. Шаг у нее оказался широкий, как у царя Петра на картине художника Серова. Очень не хватало ветра, туч, свободы. Мы топали по глухому, только дежурными лампами освещенному коридору. Свернули в фойе. Солдат глядел на нас равнодушно из-за барьера.

Мы повернули к лестнице, спустились на марш и скрылись под лестницей.

Табличка на двери – «ТЕХНИЧКИ». Технички – это значит уборщицы. И точно, в небольшой комнатке за старым кухонным столом с выдвижным ящиком сидела та же уборщица и пила чай из стакана в подстаканнике. В углу громоздились ведра, швабры. Тряпки сушились на батарее, впрочем, холодной, помещения еще не отапливали.

Уборщица подлила себе кипятка из электрического чайника. На нас она не смотрела.

В комнатке нашлась еще дверь, мы в нее прошли и оказались в уютном помещении (когда-то, наверное, кладовой) со старым диваном, этажеркой. На ней синела небесной синевой стеклянная вазочка, да стучал будильник. На полу возле дивана притулились мирные домашние тапочки.

Женщина сообщила:

– Диван разложим и ляжем вдвоем. Валетом. Пока так.

– Пока?

– Может быть, тебе повезет, и ты найдешь свой пропуск. Я полгода ищу. Уже не ищу. Чай хочешь?

Ну, конечно, Юлька, разумеется, я говорила, что это невозможно, что надо идти к начальству, мы не в тюрьме, мы советские люди.

Женщина сказала:

– Да-да, сходишь к начальству, напишешь заявление, а пока помоги, я хочу спать. Туалет здесь, на этаже, душа нет, становлюсь в таз, поливаюсь из ковшика. Попроси подружек, чтоб принесли тебе мыло, шампунь, белье. Книги. В городке библиотека хорошая, я еще не все перечитала. Зови меня Валентиной, без отчества.

И что ты думаешь, мы разобрали диван, под голову я сунула Валентинин плед, накрылись кое-как одним одеялом. Валентина уснула и захрапела во сне, я думала, что не усну, но уснула. Утром не враз сообразила, где нахожусь, отчего такая непроглядная тьма.

За утренним чаем Валентина мне сказала, что не надеется на освобождение, так как хлопотать за нее на воле некому. Знакомых-то полно, и родные есть, но никто там по ней не скучает, есть она, нет ли, им не важно. И я подумала, а кому я так уж сильно нужна? Чтобы хлопотали, добивались. Разве что маме, но маму никак нельзя волновать. И тебе, Юлька, хлопотать за меня не с руки, у тебя ребенок, работа, да и далеко, не докричишься. В конце концов, я пока здорова и даже письма пишу, а раньше, когда я была на воле, писем бы ты от меня не дождалась. Засим, как в старину выражались, кланяюсь я тебе. В надежде на лучшее.

*Шура*

### **6 октября 1986. Боровск-23. Письмо № 2**

Проснулась и подумала: то ли я умерла, то ли ослепла. Открыть глаза, закрыть – одинаково темно. Душно.

Насекомое точит. Дерево или камень. Что-то.

Валентина вздохнула, и я сообразила, что лежу под ее жарким боком на диване в кладовой без окон, что насекомое – часы, точат время, точат в нем проход и никогда, никогда не проточат. Время, конечно, не дерево и не камень, субстанция мягкая, прозрачная, но конца ей нет, уж если попал – пропал, увяз, не выберешься до смерти. А что там после? Ничего, пусто.

Будильник загрохотал, Валентина включила лампу. Сказала:

– От койки до работы три минуты. Большой плюс.

Мы умылись в прохладном и чистом туалете. Валентина дала мне зубную пасту и мыло. У нее нашлась запасная зубная щетка. Настроение у Валентины было прекрасное, бодрое, словно и не отсидела полгода в заключении, не видя свежего воздуха. Она радовалась утру, прохладной чистой воде. Сделал зарядку там же, у раковины. И меня уговорила присесть – встать.

Выпили чаю за столом уборщиц (техничек), съели по ломтю белого хлеба.

Валентина:

– Масла не держу, холодильника нет.

Велела мне убрать посуду, достала косметичку и принялась, как она выразилась, наводить марафет. Я ополоснула стаканы и села наблюдать. Кончиками пальцев Валентина нанесла на лицо крем. Напудрилась. Подрисовала брови, наложила тени, накрасила ресницы, под скулы положила розовые блики.

Предупредила:

– Косметику не дам, свою заводи. Губы нормально?

– Нормально.

– Не старит меня эта помада?

– Нет. Нормально. Художественно.

– Мне Клавдия покупает. И никак не попадет в цвет. Я прошу такой, знаешь, самый бледный розовый, а у нее всё как будто вишня. Не то, не то.

Я спросила, сколько ей лет.

– Сорок пять стукнет в декабре месяце. Тебе, наверное, кажется, ух, как много.

– Рано мы встали, еще час целый до работы.

– Я люблю рано вставать. Не хочу, знаешь ли, опускаться. Раскисать. Хочу выйти на волю в хорошей форме. Хочу еще пожить. У меня денег накопится, когда выйду, буду королевой. Замуж выскочу.

– Вы деньги не тратите?

– Ты совсем дурочка. Маленькая и глупая. Жизни не знаешь. Не дуйся, без обид. Деньги нам приходят на сберкнижку, так? И зарплата, и командировочные. Ну и кто их вместо тебя



снимет? Никто. Не выдадут. И доверенность не оформишь. Так что наличных у меня нет, и у тебя скоро не будет. Приятельница подбрасывает мне иногда и в книжечку записывает, чтобы потом, если я выберусь, предъявить счет.

Если. Ты слышишь это «если», Юлька? Меня аж передернуло.

Что-то мы еще говорили, попивая чай, пустяки какие-то. Даже смеялись. Чай, кстати, неплохой. «Бодрость». Я помню, мы такой брали в булочной возле общаги. Какое прекрасное время. Какие большие окна. Как далеко из них видно. Останкинская телебашня, самая высокая в мире. Или не самая. Не важно. Вспоминаю, как отжившая свой век старуха, как будто ничего уже не будет. Чушь! Я подземный ход прогрызу. Я поумнею и придумаю.

Валентина мне сказала, в какой идти кабинет и во сколько, чтобы записаться на прием к самому главному.

– Я ему что, увидел и забыл, а ты молоденькая, личико бледное, детское, сжалится, хоть какой винтик, да сдвинет.

– А тебе он что говорил? (Мы уж перешли с Валентиной на «ты».)

– Здесь он выписать пропуск мне не может, только на головном предприятии, то есть в Ярославле, и только при личном моем присутствии. В общем, примерно та же история, что и с деньгами на сберкнижке. Заколдованный круг.

Юлька, а ведь я такое читала. Правда, невнимательно. Серёжа приносил книжку. Я тебе о нем рассказывала, когда приезжала на зимние каникулы после первой сессии. Я в него тогда втрескалась по уши. Я вечно по умненьким сохну.

Книжка – листочки в папке, штук двести. Машинопись. Слепая печать. Финала нет и не будет. Герой не мог проникнуть в Замок, ему обещали там работу, и он всё ждал, когда же его пустят. Плюнуть и уйти отчего-то не мог. Я бы на его месте плюнула. На своем месте я не плюну, мне деваться некуда, мне гораздо хуже, чем ему.

Понимаешь разницу? Он тупо не уходил, хотя мог уйти. А я не могу уйти. Застрелят. У солдатиков автоматы настоящие. Заряжены боевыми. Нас предупреждали. Так что я ему не сочувствую, я себе сочувствую, по полной программе. И все мне сочувствуют. Я как увидела, что все меня жалеют, как смертельно больную, – мурашки по коже.

Гуля приволокла журналов из библиотеки, целую гору. Читай, говорит, развлекайся, в них сейчас интересное печатают. Танька подушку пронесла и плед. Подушку умяла в сумку, пледом завернулась под пальто. Охраннику улыбнулась, пропустил. И конфет принесли, и денег, чтобы было на что в буфет ходить. У меня глаза на мокром месте и у них. Обнялись, поплакали, успокоились и потопали работать, как если бы всё встало на свои места, как если бы не замуровали живого человека.

День прошел обыкновенно. Я не знаю, чего я ждала. Все-таки со мной произошло невероятное, а день шел себе, люди работали, мужики говорили о футболе, о грибах, о здешних лесах.

Я сижу отупело. Солнце светит в узкое окно (не открывается, не надейся). Я подхожу к окну, мужики паяют свои схемы. За окном – дорога, она ведет на КПП, к выходу, к автобусу, к лесу, через который можно и пешком добраться до нашего городка. Девчонки вчера так возвращались с работы, дышали воздухом.

Гуля написала за меня программу. Причем губы сердито не поджимала, даже что-то пыталась объяснить ласковым голосом. И сказала, что молится обо мне.

Но, вообще говоря, все уже (уже!) успели привыкнуть к моему дикому положению. И я успела.

Спокойно сижу за дисплеем, перепечатаваю из тетрадки программу. У Гули *L* в точности *D*. В обед шагаем в буфет. Я набираю еды побольше, чтоб уж наесться. К вечернему чаю приберегу пару плюшек, в конце концов растолстею на них. Девчонки говорят, что вечером собираются в кино, смотрят на меня виновато. Я спрашиваю, что за фильм.

– Какой-то иностранный. На афише дядька с пистолетом.

Завтра расскажут.

Всё было ничего, пока рабочий день не завершился.

Сдали тетрадки в сейф. Я спросила девчонок, как они сегодня, через лес?

– Если дождя не будет.

Я хотела попросить принести мне сосновую ветку, но не стала смущать людей.

Постояла у окна, посмотрела. Журналы разложила. Читать не хотелось, я решила погадать. И выпало мне: «...весь мир до сих пор заключался в нем самом...». Грустно мне было, Юлька, как будто бы я оторвалась от Земли и лечу в космическом пространстве всё дальше и дальше, во тьму и пустоту ночи.

Я листала журналы, ждала уборщицу. Наконец она пришла со своим тяжеленным ведром в сопровождении охранника. Он встал в дверях, а она принялась подбирать с пола бумажки. Я бросилась ей помогать и кстати спросила, нет ли еще где на объекте кладовки, уголка, где я бы могла обустроиться, пока не решится мое дело.

Уборщица отвечала:

– Не знаю.

Она вымыла пол, я вышла, охранник запер и опечатал дверь.

Времени еще мало, всего-то восемь часов.

Я поплелась к Валентине. С пледом и подушкой в обнимку. Подумала, что выпью чаю «Бодрость», взбодрюсь.

Лестница. Часовой. Он сидел за барьером, как дежурный милиционер в отделении.

Я не помню, писала ли я тебе. Наверное, нет. На втором, кажется, курсе мы шли ночной улицей. Уже и не помню, как она называлась. Мне двадцать два, а я, как старуха, теряю память! Не помню. А может быть, и не знала. Недалеко от Бутырского вала? Или от Минаевского рынка? Охо-хо. Кто-то из ребят нес прекрасный японский двухкассетный магнитофон «Панасоник» (вот марку я помню). Магнитофон, конечно, мы врубили на полную. «Пинк Флойд». «Стена». Да-да, это я тоже помню. Возведение стены и разрушение. На ночной московской улице, в условном 1982-м. Осенью.

Еще тепло. Мы идем вместе, маленькая армия, разведотряд, отряд-снаряд, музыкальная бомба, поберегись.

Нас задержали и привели в отделение. Пожилой дежурный тихо спросил, откуда мы взяли магнитофон. Галина объяснила, что магнитофон привез отец, он плавает на научно-исследовательском судне.

– Тралом выловил, – пошутил Мишка.

– Неплохой улов, – ответил дежурный.

Записал показания и отпустил. Велел не шуметь по ночам, не мешать людям отдыхать.

– Им завтра на работу. В отличие от вас.

Я приблизилась к часовому. Он разгадывал кроссворд в газете. Дописал слово («астма»).

– Привет, – сказала я.

Он не отвечал.

– Ты откуда? – я спросила.

Он не отвечал. Написал слово («галактика»).

– Какие ты слова знаешь.

От не отвечал.

– Будь здоров, солдат. Извини.

Коридор. Лестница. Каморка.

Валентина с уборщицей пили чай. Полулитровая банка клубничного варенья стояла у них на столе. Банка можайского молока.

Светила настольная лампа, и сидели они в ее свете уютно. Пар поднимался над чаем. Валентина бросила в свой стакан кусок рафинада и принялась его размешивать, звякая, брякая ложкой. Я стояла на пороге в некоторой растерянности, Валентина на меня не смотрела, и уборщица не поворачивала головы. Не могли же они не услышать, как я отворяю дверь, как вхожу.

Я пожелала им приятного аппетита.

Уборщица намазала хлеб вареньем и обратилась к Валентине:

– Клубники мало уродилось в этом году.

– Картошки зато будет много.

– Да. Слава богу.

– Класс. (Это моя реплика; решила вступить в беседу.)

Валентина медленно повернула голову, посмотрела на меня выпуклыми карими глазами.

И вымолвила:

– Не стой. Иди себе. И дверь за собой закрой, нам дует.

– В смысле? Куда идти?

– Да куда хочешь. Мир велик. Здесь тебе не по нраву, уж не знаю, почему, хлеб мой не по вкусу, или, может, я тебе не по нутру, так бывает, ничего, иди. Курица безмозглая. Отдельная жилплощадь ей требуется. Цаца.

Так она сказала и отвернулась.

Откуда ж мне было знать, Юлька, что уборщица доложит, а Валентина оскорбится. И куда мне теперь деваться с пледом, подушкой и всеми моими вещичками, я ни малейшего представления не имела.

Я вышла из подсобки совершенно оглушенная.

Целая ночь впереди. Целая и неделимая.

Ох, Юлька, я попала. Сил нет.

*Шура*

### ***6 октября 1986. Боровск-23. Письмо № 3***

Пишу в тот же день. Вернее, в ночь. То письмо уже запечатала. Можно, конечно, подержать над паром. Но не экономить же мне на конвертах.

Валентина меня выгнала, и я вернулась к часовому. С пледом и подушкой в обнимку, всё по-прежнему.

Сидит за барьером и смотрит на меня. Взгляд пустой, как у фашиста в фильме.

Я ему говорю:

– Привет.

Он не отвечает. Но не гонит.

– Кроссворд весь разгадал?

Молчит.

– Ты откуда? – я спрашиваю.

Он молчит.

– А я из города, – говорю.

И рассказываю про нашу реку, про сопки и про сладкий запах от свинцово-цинкового и титано-магниевого. Про солнце, про маленькие сладкие арбузы, про живых карпов и желтые осенние листья, про каменный мост.

Не знаю, слушает он или нет. Молчит. На спинке стула у него автомат. Я говорю, что разбирала автомат с закрытыми глазами. Быстрее всех в классе. И он спрашивает:

– За сколько?

Бинго! Плотина прорвана, крепость пала.

Не то чтобы он пустился в разговоры. Но усмехнулся, когда я ему рассказала про нашего полковника, про то, как он мальчикам волосы сантиметром измерял, а девочек отправлял в туалет смывать тушь.

– Ты смотри, не стань таким. Когда уйдешь со службы, снимай форму, надевай гражданское, копайся в огороде, лови рыбу, поезжай в Крым на всё лето, только не иди в школу преподавать НВП.

– Не пойду, – он усмехнулся. – Я вообще не собираюсь быть военным.

– А что ты собираешься?

– Не знаю.

– А скоро у тебя дембель?

– Не твоего ума дело. Много хочешь знать – скоро состаришься. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Болтун – находка для шпиона. Меньше знаешь – крепче спишь.

– Ну ты даешь.

– Иди. Не отвлекай от службы.

– Куда? Куда мне идти?

И я разревелась. Не собиралась, не думала. Стою и реву вздох и остановится не могу, сама не рада. Плед с подушкой, сумку, всё на пол бросила и вою. А он растерялся, побледнел, схватил телефонную трубку. Я не слышала, чего и говорил, всё рыдала.

Пришел офицер. Тот, что с нами ехал от Балабанова. И не так уж велик ростом оказался, как мне тогда почудилось. И в этот раз я разглядела на его погонах по большой звездочке. Значит, майор, это я поняла, спасибо НВП. Посмотрел на меня и ушел. Он ушел, и слезы у меня иссыкли, устала я.

С пола ничего не подняла, потащила в туалет, умылась ледяной водой, высморкалась. Возвращаться не спешила. В зеркало на себя посмотрела с такой ненавистью, с какой ни на кого и не смотрела прежде. Ей-богу. Вышла, вернулась за вещами, а там майор.

– Я вам помогу, – говорит.

Подхватил мои вещички с пола и понес, а я следом. На солдата и не взглянула.

Поднялась за майором на другой этаж. Прошли коридором. Такой здоровенный коридор – целая улица, да еще и кривая, как будто в Москве. Двери все без табличек, все заперты, лампы только дежурные горят, через одну, того и гляди выйдет из полумрака какой-нибудь тип и попросит закурить.

В торце коридора дверь распахнута, свет из проема, солдаты суетятся, выносят громадный стол, обломки какие-то.

– Скоро? – спрашивает майор строго.

Минуты три мы еще подождали, пока они всю рухлядь вынесли, полы протерли (да!), внесли топчан. Тумбочку, стул, настольную лампу. Мгновенно всё обустроили. Майор осмотрел, сказал им:

– Молодцы, свободны.

Вещи мои бережно положил на топчан, вручил ключи (!) и ушел. Так получила я отдельную жилплощадь. Что-то вроде бывшей их кладовой.

Ничего, уютно.

Я постелила плед, бросила подушку, легла. Смотрю на стену. Стена и стена. Выкрашена зеленой масляной краской. Не весенней зеленой и не темной зеленой, как на исходе лета, когда уже пахнет по утрам осенним дымом, а казенной зеленой – не сравнимой ни с чем. Мрак. Отблески от электрического света впечатления не смягчают.

Ох, боже мой.

Я хотела еще поплакать, но не смогла. Подумала о майоре, что симпатичный. Роста небольшого, чуть выше меня, но стройный, плечи развернуты, спина прямая, походка легкая. Затылок круглый, а волосы – бог его знает, мягкие или жесткие. В другой раз спрошу:

– Можно потрогать ваши волосы?

Светлые, острижены коротко.

Представила его голым.

Думала, думала и уснула. А проснулась – лампа горит, стена бликует. Я на часы посмотрела – ого, рабочий день начался.

Вот так, Юлька, друг мой ситный.

*Шура*

### ***3 января 1987. Боровск-23. Письмо № 4***

Привет, Юлька, я пока жива.

Твои письма все получила (слежу по номерам). Отвечать не могла, сил не хватало. Вообще ни на что сил не оставалось.

Я как попала в ту комнату, так и застряла в ней. Сломалась. Ходила только в туалет, больше никуда. И свет не зажигала. Так привыкла к темноте, что фотоны видела, они ко мне проникали. Шучу. Но что-то различала. Кто-то со стороны отворял дверь (выходит, у них были запасные ключи, но меня это не заботило). Мне становилось больно от света, я закрывала глаза и отворачивалась к стене.

Девчонки оставляли мне на столе бутеры, конфеты, молоко. Я ела, одна, в темноте. В компании с фотонами. Ела, лежала, больше ничего. Не думала ни о чем, всё передумала, что могла.

Девчонки уже не уговаривали, рассказывали, что там зима, холод, белый снег. И что скоро Новый год. Они уедут в Москву. Они сняли там квартиру. На Окской улице. Однокомнатную, в панельной башне, под крышей. И Окская улица мне воображалась рекой.

Белый снег, белый снег. Я лежала и видела его, он светился в темноте. Снежинки летели с шорохом. На меня. Заносил меня снег, заметал. Дышать нечем, снег во рту, в ноздрах. Надо проснуться, надо вырваться, или смерть!

Я закричала, только чтобы услышать свой голос.

Нашупала выключатель.

Я выбралась из своей норы в празднично освещенный коридор, безлюдный и тихий. Времени я не знала, часы у меня давно стояли. Я привыкла к свету, вернулась к себе, захватила мыло, зубную щетку и пасту. Полотенце. Кто-то мне его принес, пока я пребывала во тьме небытия. Да много чего принесли – все мои вещички здесь собрались, возле меня. И даже маленький транзисторный приемник. Корпус из ярко-синего пластика, черный кожаный чехол с узким ремешком.

Спасибо, конечно, только страшно ведь, что они все уже при мне, а я при них, да в этих стенах. Страшно, что теперь навсегда. А впрочем, Юлька, я переживать устала. Ко всему человек привыкает. И во всяком положении находит повод для радости. Или не во всяком.

В туалете я заложила дверь шваброй, вымылась в трех водах до скрипа. В зеркало уставилась. Волосы отрасли, глаза ввалились. Ничего, жить буду.

Вдруг поняла, что в туалете пахнет елкой. Настоящий лесной запах. Я подумала, что это род галлюцинации, но обнаружила в помойном ведре еловые ветки в новогодней мишуре. Из чего, как истинный Шерлок Холмс, сделала вывод, что новый год наступил. И наступил не так давно.

Хвойный запах как будто переключил меня. Мне показалось, что вот-вот свершится что-то чудесное. Или уже свершилось. Я только не могла пока уловить что. Я стала внезапно счаст-

лива, вопреки всему, и только боялась, что скоро это праздничное чувство погаснет. Я старалась его сберечь, как маленький огонь в очаге выстуженного дома. Топливо, топливо мне нужно было, чтобы пламя занялось. Я бросилась убираться в моем закутке.

Лампа сияла, я протирала полы, стены. И вдруг наткнулась на картинку. Прежде ее здесь не было.

Картинка. Репродукция. Ее прибили к стене маленькими посылочными гвоздями. Так, чтобы я могла лежать на топчане и видеть ее, а не электрические казенные блики.

На репродукции изображено поле под пасмурным, но светлым небом. В поле угадывается тропинка, на горизонте слева темнеет лес, но тропинка, не дойдя до леса, поворачивает направо.

Никто по ней не шел. Пейзаж был безлюден и относиться мог к любому историческому времени. Утро, вечер, день – неясно. Мир или война. Кто ж его знает. Я посчитала этот пейзаж паузой. Остановкой во времени и пространстве. Как говорится, отдохни и ты.

Я взяла в руки приемник. Включила. Услышала шорох. Голос эфира. Помехи. Эфир был ими густо заселен. Точно души всех когда-то живших зашелестели.

Так я подумала и выключила приемник.

Я вышла с ним из своего убежища, дверь закрыла на ключ и направилась далеко, по коридору, по лестницам, то вверх, то вниз, к обителицу Валентины. Мне по-прежнему было радостно. И мне хотелось попросить у нее прощения. Ведь Новый год. Я не думала, что она, может быть, спит или работает. Я должна была идти. На лестницах пахло морозным воздухом, он проник в нашу темницу, это тревожило и внушало надежду.

Дверь в подсобку оказалась заперта. Я постучала.

Шаги и сонный голос Валентины:

– Кто?

– Я! Пустите, пожалуйста, дорогая Валентина. Я очень-очень виновата перед вами, и я хочу загладить вину. Позвольте мне это сделать!

– Ты пьяна?

– Нет, что вы!

Она молчала за дверью и не уходила, я стояла перед дверью и не уходила. Может быть, что-то происходило в мире, а может быть, и ничего. Я включила приемник. Зашелестели, задрожали души. Я повернула ручку и мужской голос пропел:

«Утомленное солнце...»

Валентина отворила дверь.

Я протянула ей поющий приемник.

«...нежно с морем прощалось...»

– Это вам. Подарок. С Новым годом.

«...в этот час ты призналась...»

– Через порог нельзя.

«...что нет любви...»

– Входи.

Мы пили сладкую наливку. Приемник бормотал под сурдинку какие-то новости, они нас не касались, ни меня, ни Валентины.

Мы пили наливку, ели хлеб с колбасой.

– Хочешь на волю? – спросила вдруг Валентина.

Она смотрела на меня, и ее глаза мне казались огромными.

– Еще бы.

– А я нет. Мне здесь лучше. Там я лишняя. В Москве в квартире народу много, все шумят, меня не любят, я это чувствую, то плачу, а то кричу на них, я кричу, а меня не слышат.

В городке в комнате соседки смеются надо мной, смеются тихо, а я слышу. Не любят. Да и за что меня любить?

Я заплакала и бросилась Валентину обнимать, гладить по голове.

И я плакала, и Валентина плакала. Я говорила, что всё это глупости, что люди хорошие, что Валентина хорошая. Она меня от себя отстранила. Высморкалась. Велела подать сумку.

– Она под подушкой у меня, для сохранности. Поди принеси, а то мне вставать нет охоты.

Я принесла сумку, Валентина ее открыла.

– Здесь у меня всё. И от московской квартиры ключи, и от комнаты в городке, и от этой конуры ключ, и пропуск твой в потайном кармане.

Она вынула пропуск и положила на стол.

– Бери. Свободна. Прости, если сможешь.

Я не двигалась.

– Да. Вот так. Украла. Очень уж ты мне приглянулась. Простая душа.

Я молчала.

– Бери. Иди.

– А ваш пропуск, он тоже там, в потайном кармане?

– Там.

Я взяла свой пропуск со стола.

Поднялась.

Направилась к двери.

Услышала:

– Всем расскажешь?

Обернулась.

– Никому.

Тут я соврала, потому что, Юлька, тебе никак не могу не рассказать.

Всё, моя дорогая. Целую.

*Шура*

*P.S.*

В городок я пришла пешком, морозной ночью, через лес. Шла и ничего не боялась, шла, как песню пела. И фонари освещали мне путь электрическим светом.

На КПП предъявила пропуск, и меня пропустили, о чудо.

Я шагала, снег скрипел. На площади стояла громадная ель, на макушке ее горела звезда, а возле ели курил майор.

Я приблизилась и стала смотреть на него. Я запела тихо:

«Утомленное солнце...»

Он обернулся. Отбросил в снег сигарету.

«...тихо с морем прощалось...»

Я положила ему руки на плечи.

«...в этот час ты призналась...»

Он обнял меня.

И так мы стояли.

## Katerinaa

Вы читаете журнал Katerinaa.

*29 декабря 2012, 20:00*

**Katerinaa:** Я, конечно, спросила на всякий случай, не свободно ли место.

– Нет, – сказала старуха.

Она сидела у окна, а место рядом с ней стерегли рукавицы.

Народ всё прибывал, старуха смотрела растерянно, а я надеялась, что никто к ней не подойдет, что придется ей убрать своих псов, и тогда я сяду наконец. Стоять уже сил не было.

Псы старухины были из серой шерсти, простой вязки, один с зеленым глазом-заплаткой на большом пальце. Бархатная заплатка, между прочим. Оттенок темный, малахитовый, красивый. Бог его знает, откуда у этой нищей старухи в старой мужской куртке, в темной лоснящейся юбке, в валенках с галошами, взялся такой красивый обреза. Может быть, жакет такой водился у нее в дни молодости. Я попыталась представить ее молодой и красивой, в темно-зеленом бархатном жакете, с припудренным лицом, с ароматом, едва слышным, «Красной Москвы». Напомнила мне эта старуха мою так, что сердце сжалось.

Электричка тронулась, старуха еще надеялась, выглядывала людей, пробирающихся по проходу. Я ее не торопила.

Она посмотрела на меня и убрала псов.

Я уселась. В проходе стояла толпа, покачивалась в такт ходу поезда.

Душно, сонно.

Старухины иссохшие, с пожелтелыми ногтями пальцы вдруг коснулись моей руки.

– Дочка, – спросила старуха, – у тебя есть телефон?

Она расстегнула куртку и вынула из внутреннего потайного кармана сложенный вчетверо листок. Пожелтый, в клетку, наверно, из древней школьной тетради, от внуков сохранилась где-нибудь в чулане, с оценками и замечаниями.

Большими, два раза для четкости обведенными буквами на листке записан был номер. Я его набрала.

Ответил высокий мужской голос:

– Алё-алё!

– Здравствуйте. Ваша бабушка будет говорить.

И я вложила телефон старухе в ладонь.

– Митя! – заголосила старуха в трубку. – Я здесь! Еду, еду! Ты где? Где?

Что там ей отвечал ее Митя, я не знаю.

После разговора она успокоилась, вытянула из-под сиденья школьный, хорошо поживший темно-синий рюкзак, раскрыла молнию и вынула из рюкзака пакет. В нем оказались пирожки. Из русской печки, как старуха сказала. И предложила отведать. Я не отказалась. Сама я не пекла, но за моей бабушкой много раз наблюдала. Дрова в каменном зеве должны прогореть, затем на кирпичи над углями ставится противень, а зев загораживается железным щитом, и там, за щитом, в каменной пещере, поднимаются и румянятся пироги да пышки.

Старухины пироги были с картошкой и жареным луком. Я ела и была счастлива. Расстались мы друзьями. Даже имя ее мне теперь известно: Дарья Сергеевна.

Наевшись пирогов, я и ужинать не спешила, брела по нашему городку, по центральной улице, в магазины заглядывала, смотрела, но ничего не покупала. Дома только чай выпила. Завтра думаю поехать в «Икею» за диваном, мой уже развалился.



**Snezanna:** В «Икее» на завтрак кофе бесплатный) Или чай.

**Dimon:** Кофе у них отвратительный.

**Snezanna:** Вы придираетесь. Как всегда.

**Dimon:** Я объективен. Как всегда.

**Katerinaa:** Мне нравится, что там всё сборное. Я с детства конструкторы люблю.

**Dimon:** Замазаетесь одна диван собирать.

**Katerinaa:** Я со шкафом справилась, было дело.

**Dimon:** О!

**Snezanna:** Можно доплатить за доставку и сборку, не очень дорого, кстати.

*29 декабря 2012, 23:40*

**Katerinaa:** Разбудил звонок.

Тонкий мужской голос, как острая игла:

– Митя, я – Митя; сегодня с вашего телефона мне бабка моя звонила!

– И что?

– Она пропала. Она должна была до платформы доехать и там меня ждать, и нет ее на платформе.

– Вы откуда звоните-то? – спрашиваю.

– С платформы.

– Так вы что, только сейчас до нее добрались?

– Ну да, – говорит, – так вышло, меня задержали сильно, я как только освободился, так и рванул, я вообще-то должен был ее на вокзале еще встретить.

– Вы на часы-то гляньте, – говорю, – сколько она вас должна была на платформе ждать? Зима на дворе.

– Да я понимаю!

– Вы не кричите. Я ведь не знаю, где она сейчас. Может, до дома добралась. Адрес она знает?

– В принципе да, всё записано, но дома ее нет, я уже слетал до дома, нет и не видел никто.

– Ну, может быть, магазин какой теплый при станции?

– Да был уже!

– Чего вы кричите? Я при чем?

– Да я не знаю, что делать, я ошалел совсем.

– В полицию звоните. По больницам. Людей еще поспрашивайте. Вы извините, но мне вставать завтра рано.

– Конечно, я понял. А вы когда ехали, всё нормально было?

– Всё путем.

– Ладно. Но я не виноват! Честно...

Объяснений я его уже слушать не стала. И сна теперь нет. Где эта Дарья Сергеевна? Куда забрела? Так и вижу ее с этим школьным рюкзаком за плечами.

**Dimon:** Не ее вы видите, а собственную свою бабку. Это называется замещение.

**Katerinaa:** А, вы тоже не спите?

**Dimon:** Очевидно. У нас половина пятого утра, я еще не ложился.

**Katerinaa:** Какая у вас погода?

**Dimon:** Тридцать шесть.

**Dimon:** Мороза.

**Katerinaa:** Я поняла.

**Dimon:** У вас так не бывает.

**Katerinaa:** На улицу выходите?

**Dimon:** В космическом скафандре. Почти. Теплое белье. Два свитера. Пуховик. Была б моя воля, вообще бы не выбирался, сидел бы у печки.

**Katerinaa:** У вас печка???

**Dimon:** Батареи. Обычная квартира в обычной пятиэтажке с паровым отоплением. Примерно как у вас.

**Katerinaa:** У бабки моей была печка.

**Dimon:** Вы говорили. Пирог. Деревенский был дом?

**Katerinaa:** Почти.

**Dimon:** Я бы не отказался от такого. Где-нибудь в ваших краях, где зима помягче, а Париж поближе.

**Katerinaa:** Вы хоть отдаленно представляете, как в таком доме живет? За водой на колонку, газ привозной в баллонах, уголь и дрова тоже заказать и привезти, проводка вся древняя, электричество едва тлеет, антенна на крыше ловит полтора канала, балки гнилые, крыша протекает, в подполе сырость, грибок. Это уже не дом, а склеп. Его надо разобрать и заново построить и желательно на другом месте, тогда еще можно.

Я приезжала каждое лето, помогала и уговаривала переехать ко мне, но нет, ни за что, хотела быть сама в своем доме, быть хозяйкой. «Что, – говорила, – я буду у тебя в городской квартире делать, из окна глядеть? У подъезда на лавке прохожих караулить?»

Это правда, делать ей здесь было бы нечего, она привыкла к свободе, но ведь старость! Уже и снег разгрести тяжело, и ведро поменьше купила за водой ходить, и в подпол уже лезть опасалась. Но так и не сдвинулась. Уперлась. Так и померла там в одиночестве.

**Dimon:** А что у вас из окна видно?

**Katerinaa:** Красную площадь. Дома, правда, загораживают. На полсотни примерно километров домов и деревьев. Если всё снести, то как раз и будет видно Красную площадь, в телескоп.

**Dimon:** Сердитая вы.

**Katerinaa:** Станешь тут.

**Dimon:** А у меня из окна даже днем ничего не видно. Медицинститут через дорогу, но от мороза туман, и он всё съел: и здания, и людей, и деревья. И меня съел.

**Katerinaa:** Зачем вы опять с работы уволились?

**Dimon:** Устал.

**Dimon:** Скоро опять устроюсь.

**Katerinaa:** Куда?

**Dimon:** Всё туда же, на скорую.

**Katerinaa:** Отдохнули, значит?

**Dimon:** Деньги кончаются.

*3 января 2013, 21:35*

**Katerinaa:** Приподнимается серый чехол, в черной лаковой глубине загораются огни, глубина оживает. Чехол соскальзывает под огромное, во всю стену, окно. В черной заоконной глубине тоже горят огни.

Высокий, худой мужчина отодвигает стул и садится за рояль. Он поднимает крышку и разминает пальцы. Глаза его опущены.

Мало кто в большом зале видит пианиста. Многие спят. Плачет ребенок. Небритый дядька, сосредоточенно ступая, несет дымящийся стаканчик. Запах кофе и гул кофемашины сбивают с толку. Если закрыть глаза и сосредоточиться только на этом запахе и этом звуке, то можно представить, что ты в кафе. Можно выбрать любой город. Париж. Рим. Где ты был или не был. В любом случае, это воображаемый город.

Диктор объявляет посадку на поезд до Читы. Слышно, как собираются люди.

Надя открывает глаза. Она в зале ожидания на Ярославском вокзале, на втором этаже с огромным панорамным окном над железнодорожными путями и черной далью. Рояль здесь кажется неуместным.

Укрытый в серый чехол, он не привлекал внимания. Но вот высокий мужчина в драповом пальто подошел к нему. Снял пальто, сложил и повесил на спинку стула. Снял подставку с объявлением:

КОНЦЕРТ ЕЖЕДНЕВНО С 15:15 ДО 16:00.

Приподнял чехол.

Наде пора уже идти. До электрички пятнадцать минут, как раз чтобы успеть занять место.

Мужчина начинает играть. Ожидающие своих поездов люди поворачиваются на звук рояля. Вытягивают шеи. Кто-то привстает. Кто-то возвращается с дымящимся стаканчиком к своему месту. Кто-то приближается к роялю. По-прежнему гудит кофейный аппарат. Диктор объявляет о прибытии поезда.

Пианист играет популярные мелодии. Семидесятых и восьмидесятых годов. Советская и зарубежная эстрада. Наверно, в концертном зале его игра показалась бы тусклой, маловразумительной. Но здесь его музыка звучит празднично и ярко. Странно. Он здесь Рихтер. Бог.

Отыгрывает сорок пять минут. Убирает руки с клавиш. Раздается несколько хлопков. Он поднимается, кланяется.

Серый чехол укрывает рояль.

**Snezanna:** Здорово. Мне очень нравится. А Надя – это вы?

**Katerinaa:** Я статьи для газетки подписываю: Надя К.

**Dimon:** Хоть слово правды имеется?

**Katerinaa:** Всё правда.

**Dimon:** Я позавидовал вашему пианисту.

**Katerinaa:** Я тоже.

**Dimon:** Я, правда, сейчас всем завидую. Такая у меня полоса.

**Dimon:** Рискну спросить: что вы делали в зале ожидания поездов дальнего следования? Уж не в наши ли края собирались за озеро Байкал?

**Katerinaa:** Ждала свою электричку. Ту, на которую рассчитывала, отменили, предпочла два часа провести в тепле и более-менее уюте.

**Snezanna:** Потрясающе. Неужели правда: рояль и музыкант, на вокзале?

**Katerinaa:** Правда.

**Snezanna:** Даже не верится. Интересно, кто он.

**Katerinaa:** Пенсионер-любитель. Бывший железнодорожник. Наверно. Я так думаю.

**Dimon:** Насколько помню, вы Москву не жалуете. По какой нужде ездили?

**Katerinaa:** По газетным делам моталась.

**Dimon:** И как Наде К. столица в начале года? В начале времен, можно сказать.

**Katerinaa:** Нормально. Народу мало.

**Dimon:** Что вашей мелкой провинциальной газетке понадобилось в Москве?

**Katerinaa:** Художник-мультипликатор. У него дача в нашем районе, в московской квартире только зиму зимует и по памяти наши провинциальные пейзажи пишет. И не только природу, но и мелкие городские задворки. Какая-нибудь пятиэтажка старая, к примеру, в землю вросла. Двор, белье на веревке. Постельное, нательное – всё наружу. Цветная изнанка жизни.

**Dimon:** Вам нравится?

**Katerinaa:** Да. Но говорить с ним тяжело. Всё время кажется, что спрашиваю что-то не то. Что отвечает он чисто из вежливости. Что мог бы что-то гораздо более интересное рассказать, только я нужного вопроса не нахожу. Может быть, вот сейчас сидит и рисует меня по памяти.

**Dimon:** Надю К.? Катерину?

**Katerinaa:** Не знаю. Мало ли кого он во мне разглядел. Не рискну предположить.

**Dimon:** Культурный у вас день был. Художник, пианист. Но это для Нади К. в основном. Для Катерины-то было что-нибудь?

**Katerinaa:** Пианист ушел, и я рванула на свою электричку. Это уже была вторая после отмены, впритык после первой, первая и увезла весь народ, а здесь я села вольготнее, у окна.

Топили жарко, меня разморило. Я не спала, но мне казалось, что сплю. И если проснусь, то исчезнет вагон со всеми его пассажирами и со мной в их числе, и зима за окном исчезнет, долгие перегоны и одинокие платформы, а что явится вместо них, я в своем сне не представляла. И видела всё как-то отрывочно, с провалами. То вдруг человек стоит в проходе и жонглирует какими-то шарами. То вдруг тетка входит вся в снег и пахнет от нее холодом. А то вдруг вижу: обледенелая платформа, скамейка, на ней лежит серая обмерзлая рукавица и смотрит зеленым глазом. И я медленно соображаю, что рукавица-то, пожалуй, старухина. И вдруг оказываюсь снаружи вагона, на платформе, и вслед за ушедшей электричкой поднимается снежный вихрь.

Вот тут, на этой маленькой платформе, мой сон и кончился. Я осознала, что стою одна, что место безлюдно, что уехала я в сомнамбулическом трансе далеко от моей станции, и когда будет обратная электричка, одному богу известно.

Снежная пыль улеглась, я вынула из огады промерзшую рукавицу. Очень похожа на старухину. И шерсть серая, и, главное, этот глаз зеленого бархата.

Я достала телефон, позвонила Мите, но он сбросил звонок. Я набрала сообщение: «Нашлась ваша бабушка?»

Долго дожидалась ответа.

«нет»

«Хоть какие-то новости?»

Пауза.

«нет»

«Я вроде бы ее рукавицу заметила на платформе, скажите в милиции»

Нет ответа.

Думала, он перезвонит.

Я стояла с одноглазой рукавицей и не представляла, что делать. Сошла с платформы и побрела по тропке вдоль железной дороги. В лесу стучал дятел.

Переезд. Рыночек небольшой. Собаки крутятся, банки с медом красиво так на свету смотрятся. Пятиэтажки рядом. В ларьке свет горит. Творог у них в витрине, сметана.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.